

Содержание

Статьи

Вл.А. Луков. Мировая литература как предмет научного исследования: историко-теоретический и тезаурусный подходы

Л.Н. Синякова. Рыцарство и мещанство в художественной концепции романа А.Ф. Писемского «Мещане»

А.И. Куляпин, О.А. Скубач. Игры со временем: семиотика часов в советской культуре 1920–40-х гг.

М.А. Бологова. Книга Экклесиаст в рассказе А. Эппеля «Помазанник и вера»: прочтение через метафору

Н.В. Панченко. От единиц текста к единицам композиции

К.И. Бринев. Метаязыковое и собственно языковое в юридическом языке

М.Ю. Сидорова, У Баоянь. Кто и почему пишет неправильно в Интернете?

И.М. Волчкова. Пародия как знак дискурсивного пространства

С.А. Добричев. Синтаксическая конверсность в сложных предложениях английского языка

Научные сообщения

А.А. Бахаева. Мотив покаяния в раннем творчестве Ф.М. Достоевского («Бедные люди», «Хозяйка»)

Е.В. Соснин. Природа, человек и время: этническая персонификация временных циклов в древнегерманской мифопоэтической модели мира

Обзоры

Л.Г. Васильев. Аргументирующий дискурс: условия удачи (по материалам зарубежной аргументологии)

Филология: люди, факты, события

А.Э. Чумакаев. Информация о конференции «Языки и литературы тюрко-монгольских народов Алтая»

М.Г. Шкуропацкая. III Международная научно-практическая конференция «Языковая картина мира: лингвистический и культурологический аспекты»

Критика и библиография

О.А. Ковалев. *А.И. Куляпин, О.А. Скубач.* Мифы железного века: семиотика советской культуры 1920–1950-х гг.: Монография. 2-е изд., доп. и испр. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 127 с.

Резюме на английском языке

Наши авторы

Contents

Articles

VI.A. Lukov. World Literature as scientific research subject: historical theoretical and thesaurus trends

L.N. Sinyakova. «Knighthood» and «middle-class conventionality» in artistic conception of the novel «Middle-class people» by A.F. Pisemsky.

A.I. Kulyapin, O.A. Scubach. Games with time: semiotics of clock in soviet culture of 1920–40's

M.A. Bologova. Ecclesiast book in A. Eppel's story «The blessed and the faith»: reading through metaphor

N.V. Panchenko. From text units to composition units

K.I. Brinyov. Metalingvistic and linguistic units in juridical language

M.U. Sidorova, U Baoyan. Who spells incorrectly in Internet and why?

I.M. Volchkova. Parody as discursive space signal

S.A. Dobrichev. Syntactic conversion of complex sentences in the English language

Scientific reports

A.A. Bahaeva. Confession motive in F.M. Dostoevsky's early works («Poor people», «Mistress»)

E.V. Sosnin. Nature, man and time: ethnical personification of time cycles in Old Germanic mythopoetical world conception

Reviews

L.G. Vasilyev. Arguing discourse: fortune conditions (according to foreign argumentology materials)

Philology: people, facts, events

A.E. Chumakaev. Information about conference «Languages and literature of Altay Turkic-Mongolian people»

M.G. Shkuropatskaya. III International scientific practical conference «Language world picture: linguistic and cultural aspects»

Critics and bibliography

O.A. Kovalyov. *А.И. Куляпин, О.А. Скубач.* Мифы железного века: семиотика советской культуры 1920–1950-х гг.: Монография. 2-е изд., доп. и испр. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 127 с.

Summary

Our authors

СТАТЬИ

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ТЕЗАУРУСНЫЙ ПОДХОДЫ

Вл. А. Луков

«Мировая литература» – термин, который характеризует литературу всего мира, в том числе и тех эпох, когда не было еще слияния литератур разных народов и континентов в единый литературный процесс.

Начало нового тысячелетия настоятельно требует создания теоретической модели для описания насчитывающей многие столетия мировой литературы в контексте культуры. Массив эмпирических данных огромен. Это одна из причин кризиса в методологии литературоведения, охватившего не только отечественную, но и мировую науку о литературе и выразившегося в приоритете столь яркого, но, несомненно, кризисного и преходящего явления, как постмодернизм.

На сегодняшний день, как нам представляется, существуют два подхода, позволяющих при их разработке приблизиться к решению поставленной задачи.

К 80-м годам XX века сложилась определенная линия филологических исследований, которую мы обозначили термином «историко-теоретический подход».

Одним из провозвестников историко-теоретического подхода можно считать профессора Б.И. Пуришева (1903–1989) и его последователей – представителей Пуришевской научной школы (в последнее время это научное сообщество называют научной школой Б.И. Пуришева – М.Е. Елизаровой – Н.П. Михальской, что расширяет ее проблематику, вклад и значение). Б.И. Пуришев, крупный ученый и педагог, в период своей деятельности (конец 20-х – конец 80-х годов) не входил в число специалистов, разрабатывавших социологический, историко-функциональный, структурно-системный, типологический и другие методы литературоведческого исследования, становившиеся на определенном этапе модными. Его интересовала проблема мировой литературы в контексте культуры, и применительно к характеристике

этого взаимодействия он одним из первых разработал ряд историко-теоретических понятий (барокко, рококо в литературе и др.), обратился к обширному пласту литературных явлений второго ряда (например, к малоизвестным немецким писателям XV–XVII веков), к тем великим писателям, которые осуществляли в своем творчестве художественный синтез (прежде всего – к Гёте).

По этому же пути шли соратники и ученики Б.И. Пуришева – Ю.Б. Виппер, Н.П. Михальская, В.А. Пронин, Г.Н. Храповицкая, А.Л. Штейн и др., вне Москвы – М.И. Воропанова, З.И. Кирнозе, из нового поколения литературоведов можно назвать докторов наук В.Н. Ганина, М.И. Николу, Н.И. Соколову, В.П. Трыкова, Е.Н. Черноземову, ученых, работающих вне Москвы, – И.В. Вершинина, Н.Е. Ерофееву, М.В. Кожевникова и др.

Однако Б.И. Пуришев не стремился сформулировать свои идеи как систему принципов, составляющих в совокупности новый научный подход. Эту работу выполнили его последователи.

Одним из важных моментов освоения и формулирования историко-теоретического подхода стала концепция «теоретической истории», выдвинутая академиком Д.С. Лихачевым. Опираясь на воззрения академика Н.И. Конрада, связавшего выделение этапов развития мировой культуры с учением о смене исторических формаций, Д.С. Лихачев последовательно провел исторический принцип в исследовании литературы. «Теоретическая история», по Лихачеву, исследует «характер процесса, его движущие силы, причины возникновения тех или иных явлений, особенности историко-литературного движения данной страны сравнительно с движением других литератур» [Лихачев 1973, с. 4].

Историко-теоретический подход имеет два аспекта: с одной стороны, историко-литературное исследование приобретает ярко выраженное теоретическое звучание (этот аспект разрабатывал Д.С. Лихачев), с другой стороны, в науке утверждается представление о необходимости внесения исторического момента в теорию. Так, профессор А.Ф. Лосев, признаваемый ныне «последним великим русским философом», выделил проблему исторической изменчивости содержания научных терминов.

Мы связываем дальнейшее развитие историко-теоретического подхода с комплексом идей, сформулированных академиком Ю.Б. Виппером и положенных в основу «Истории всемирной литературы», издание которой осуществлялось ИМЛИ РАН с 1983 г.

В свете историко-теоретического подхода искусство рассматривается как отражение действительности исторически сложившимся сознанием в исторически сложившихся формах.

Сторонники этого подхода стремятся рассматривать не только вершинные художественные явления, «золотой фонд» литературы, но все литературные факты без изъятия. Они требуют отсутствия «предвзятости в отборе и оценке историко-литературного материала: будь то недооценка исторической значимости так называемых «малых» литератур, представление об «избранной» роли литератур отдельных регионов, влекущее за собой пренебрежение художественными достижениями других ареалов, проявление западноцентристских или, наоборот, восточноцентристских тенденций» [Виппер 1983, с. 5].

Одно из следствий историко-теоретического подхода заключается в признании того факта, что на разных этапах и в различных исторических условиях одни и те же понятия могли менять свое содержание. Более того, применяя современную терминологию к таким явлениям, исследователь должен корректировать содержание используемых им терминов с учетом исторического момента.

Историко-теоретический подход дал убедительный ответ на вопросы, требовавшие разрешения, он позволил выявить значительный объем данных для создания образа развития культуры как волнообразной смены стабильных и переходных периодов.

Другой подход к исследованию мировой литературы в контексте культуры – тезаурусный. Термин «тезаурология» впервые употреблен нами в статье 1990 г., посвященной выработке концепции курса «мировая культура» [Луковы 1990, с. 24–31], содержание тезаурусного подхода раскрыто в ряде последующих публикаций¹. Тезаурология дополняет культуурологию как ее субъективная составляющая. После того, как тезаурусный подход был применен в работах И.В. Вершинина, С.Н. Есина, Н.В. Захарова, Н.В. Соломатиной в литературоведении, Вал.А. Лукова и группы его последователей в социологии, Т.Ф. Кузнецовой, М.В. Лукова, А.А. Останина в культуурологии, в ряде работ по психологии и педагогике, можно говорить о формировании новой крупной научной школы в гуманитарном знании в целом. Ее центром стал Институт гуманитарных исследований Московского гуманитарного университета, а в международном масштабе – Международная академия наук (IAS, штаб-квартира в Инсбруке, Австрия) и Центр тезаурологических исследований Международной академии наук педагогического образования. Если культуурология изучает в качестве предмета мировую культуру, то тезаурология — процесс овладения культурными достижениями,

¹ Наиболее подробно в монографии: [Луков 2006].

осуществляемого субъектом (отдельным человеком, группой людей, классом, нацией, всем человечеством).

Центральное понятие тезаурусного подхода – тезаурус. Из многих значений этого слова нами использовано то, которое понимается в информатике как полный систематизированный набор данных о какой-либо области знания, позволяющий человеку и вычислительной машине в ней ориентироваться. Это значение положено нами в основу характеристики тезауруса в культурологии.

Культура не может быть осознана и вовлечена в человеческую деятельность в полном объеме, идет ли речь об индивидууме или об обществе (можно говорить о поле ассоциаций, семантическом поле, понятийном ядре и т.д.). Тезаурус субъективно отражает ту часть мировой культуры, которую может освоить субъект.

Следует обратить особое внимание на то, что тезаурус (как характеристика субъекта) строится не от общего к частному, а от своего к чужому. Свое выступает заместителем общего. Реальное общее встраивается в свое, занимая в структуре тезауруса место частного. Все новое для того, чтобы занять определенное место в тезаурусе, должно быть в той или иной мере освоено (буквально: сделано своим).

Как можно заметить, тезаурусный подход по крайней мере по одному параметру прямо противоположен историко-теоретическому подходу в литературоведении. Если последний требует рассматривать все литературные явления без изъятия в максимально широком культурном контексте, то первый, напротив, ищет сложившиеся у субъекта устойчивые культурные ориентиры, которые организуют структуру тезауруса.

Историко-теоретический подход предвещал при своем появлении постмодернистскую модель научного знания, в которой исчезала разница между центром и периферией культуры.

Тезаурусный подход, имея при своем оформлении определенное отношение к феноменологии Э. Гуссерля и лингвистической философии Л. Витгенштейна, к психоанализу З. Фрейда и аналитической психологии К.Г. Юнга (а эти источники не чужды постмодернизму), тем не менее большое внимание обращает на выделение центра тезауруса, определение его более детализированной структуры, предполагающей наличие разных по степени значимости слоев и т.д.

Мы исходим из признания значимости различных литературоведческих методов и подходов к изучению литературного процесса: сравнительно-исторического, историко-функционального, типологического, системно-структурного, семиотического, герменевтического и др. При этом под подходом мы понимаем

используемую для решения научных задач совокупность различных научных методов при доминировании одного из них. Методологи науки наряду с принципами причинности, соответствия, наблюдаемости, непрерывности развития, красоты научной теории выделяют и принцип дополнительности (сформулированный в 1927 г. Нильсом Бором), «согласно которому некоторые понятия несовместимы и должны восприниматься как дополняющие друг друга» [Мигдал 1983, с. 39], по определению академика А.Б. Мигдала. Методологический принцип дополнительности применим и к вопросу о подходах в литературоведческом исследовании. Всякий подход выделяет, подчеркивает те или иные стороны изучаемого объекта, те или иные принципы метода. Подход образует «точку зрения», аспект, установку для научной систематизации. Богатство и плодотворность научного метода раскрывается в совокупности литературоведческих подходов, которые определяют сферу и характер применения метода.

Такой вывод представляется весьма плодотворным, если мы понимаем, в соответствии со спецификой гуманитарного знания, точность в литературоведении (искусствознании) не как жесткость определений, а как полноту описания эстетических феноменов.

Следует учитывать, что оба рассматриваемых подхода – историко-теоретический и тезаурусный – выходят за рамки методологии конкретной научной дисциплины. Думается, что только рассмотрение мировой литературы в контексте всей культуры и сквозь призму методов самых различных наук перспективно для построения убедительной теоретической модели, которая позволит дать новые ориентиры для литературоведческого исследования.

В качестве примера приведем одно положение из работы профессора Н.В. Черемисиной «Законы и правила русской интонации» [Черемисина 1999], одного из лучших лингвистических трудов последнего времени. В этом исследовании, казалось бы, далеко от рассматриваемой проблематики, автор утверждает, что если в разговорной речи и в художественном произведении существует упорядоченный ритм, то «газетно-публицистический и научный стили речи, как правило, характеризуются существенным возрастанием частотности неправильных фигур». «В научной прозе <...> ритмическая организация служит лишь факультативным, необязательным, вспомогательным фактором синтагматического членения...» [Черемисина 1999, с. 55].

Это, несомненно, фундаментальное открытие большого масштаба. Следовательно, «язык культуры» (разговорная речь, искусство) принципиально отличается от «языка цивилизации» (наука, публицистика) по такому основополагающему показателю, как организация интонации.

Ведь следует иметь в виду, что интонация возникла раньше, чем сам человек, не случайно мы хорошо понимаем интонации кошек, собак и других животных, а они понимают интонации человеческого голоса. Художественная культура, к которой относится литература, древнее науки. Очевидно, в интонации, присущей разговорной (имеющей древние корни) речи, есть некая информация, мешающая науке, лишняя для нее. Какая? Ответ на этот вопрос позволит узнать нечто такое о специфике информации, содержащейся в художественной культуре, что может совершенно изменить представление о художественной литературе и ее роли в общем здании культуры человечества.

Наблюдение над развитием различных литературных тенденций в контексте культуры позволяет установить некие закономерности, которые можно свести в литературах европейского суперрегиона к «трехвековым аркам», объединяющимся в «девятивековые арки».

Греческая архаика (VIII–VI вв. до н.э.) может быть отнесена к периоду литературы Древнего Востока.

Далее следует «девятивековая арка» античной литературы: «трехвековые арки» греческой классики (V–III вв.), римской классики (II в. до н.э. – I в. н.э.), поздней античности (II–IV вв.).

«Девятивековая арка» средних веков: «трехвековые арки» средневековой архаики (V–VII вв.), раннего средневековья (VIII–X вв.), высокого средневековья (XI–XIII вв.).

«Девятивековая арка» Нового времени: «трехвековые арки» Возрождения (XIV–XVI вв.), Нового времени (XVII–XIX вв.), Новейшего времени (XX–XXII вв.).

Промежуткам между арками соответствуют важнейшие переходные периоды. Историко-теоретический анализ позволил представить эволюцию литературного процесса не как линейное развитие, а как диалектическую смену стабильных и переходных периодов.

Для периодов стабилизации («эпох») характерна устремленность к системе и систематизации, поляризация литературных тенденций, известная замкнутость границ в сформировавшихся системах, выдвижение какой-либо центральной тенденции и – нередко – альтернативной ей тенденции на центральные позиции (классицизм и барокко в XVII веке, романтизм и реализм в XIX веке), что нередко отмечено в названии периода (например, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения).

Напротив, переходным периодам свойственны необычайная пестрота литературных явлений, быстрые изменения «географии культуры», многообразие направлений развития без видимого предпочтения какого-либо одного из них, известная открытость границ художественных систем, экспериментирование, приводящее к рождению новых литературных

явлений, возникновение пред- и постсистем (предромантизм, неоклассицизм и т.д.), отличающихся от основных систем высокой степенью неопределенности и фрагментарности. Переходность – главное отличительное качество таких периодов, причем лишь последующее развитие литературы позволяет ответить на вопрос, в каком направлении произошел переход, внутри же периода он ощущается как некая неясность, повышенная изменчивость, заметная аморфность большого числа явлений.

Каждый тип литературы (стабильный или переходный) порождает и свой тип писателя и его мировосприятия, а также утверждает свой специфический образ человека в сознании людей.

Стабильные и переходные периоды чередуются. В последние столетия переходные периоды в основном совпадают с рубежами веков.

Эта характеристика справедлива и для развития культуры в целом.

Хотя история литературы весьма обстоятельно исследована и сведена в обширные научные обзоры¹, в этом направлении можно ожидать появления некоего нового качества². Исследование мировой литературы в контексте культуры приводит к формированию самостоятельной области теории литературы: от поэтики и исторической поэтики все более отделяется теория истории литературы со своей историографией, научными методами, конкретными приемами исследования, впечатляющими достижениями и со своими перспективами развития, весьма оптимистичными.

Литература

1. Виппер Ю. Б. Вступительные замечания // История всемирной литературы: В 9 т. – М., 1983. – Т. 1.
2. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков: Эпохи и стили. – Л., 1973.
3. Луков Вл. А. Предромантизм. – М., 2006.
4. Луковы Вал. и Вл. Концепция курса «мировая культура». Статья первая: исходя из реальностей // Педагогическое образование. – М., 1990. – Вып. 2.
5. Мигдал А. Б. Поиски истины. – М., 1983.
6. Черемисина-Ениколопова Н.В. Законы и правила русской интонации. – М., 1999.

¹ The literature of all nations and all ages: V. 1–10. – Chicago etc., 1902; Handbuch der Literaturwissenschaft: Bd. 1–32. – Wildpark, Potsdam, 1923–32; Histoire générale des littératures: T. 1–3. – P., 1961; Les grands écrivains du monde: T. 1–5. – P., 1976–78; История всемирной литературы: В 9 т. – М., 1983 – (8 т., незаверш.) и мн. др.

² Мы попробовали это обосновать в: Луков Вл. А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней. М., 2003. (2-е изд. 2005).

«РЫЦАРСТВО» И «МЕЩАНСТВО» В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ РОМАНА А. Ф. ПИСЕМСКОГО «МЕЩАНЕ»

Л.Н. Сиякова

Роман А.Ф. Писемского «Мещане» (1877), предпоследний в ряду романов крупного русского реалиста, носит во многом итоговый характер. Будучи прежде всего социально-философским, роман тяготеет к разрешению социально-исторических и философских проблем. Непосредственным поводом для написания «Мещан» послужило громкое событие – крушение Московского коммерческого ссудного банка в октябре 1875 г. В письме к И.С. Тургеневу от 29 октября (10 ноября) 1875 г. романист сообщает: «Над Москвою разразился страшный удар – лопнул и рухнул коммерческий ссудный банк; открылось безобразнейшее мошенничество, акции все ничего не стоят, да и по вкладам вряд ли получить полную сумму. Я, разумеется, не пострадал, по своему глубочайшему презрению ко всем нашим частным и так называемым общественным учреждениям. Куда я ни покажусь, меня все называют пророком. <...> В ссудном банке проявилось то же самое <...> мошенничество, как и в пьесе моей («Просвещенное время», 1875. – Л.С.)» [Писемский 1936, с. 326]¹. Банковский крах не прошел для писателя незамеченным: начатый еще в 1873 г. и брошенный, роман обогащается жизненным материалом. Вызревает основная сюжетная интрига «Мещан» – задевшее практически всех действующих лиц разорение купца-миллионщика Хмурина.

Крах Коммерческого банка был воспринят Писемским как знамение времени: обнаружилась трагическая зависимость частных судеб от безличной и неумолимой силы – процентного капитала. Организующей роман публицистической темой становится тема духовной несвободы человека, подчиненного идее «капитала». В романе «Мещане» эта тема соотносится с социально-философской темой истинных и ложных ценностей, выдвигаемых обществом в конкретных исторических условиях. По мнению современного исследователя творчества Писемского, «если в начале 60-х годов новый тип предпринимателя

¹ См. также: [Писемский 1936, с. 325–326, 331, 335].

предстал (в романистике писателя. – Л.С.) лишь как одна из подробностей общей картины жизни – картины разброда, смуты, когда прошедшее уже невозможно, а будущее неясно, то в 70-е годы эта подробность уже претендует на центральное место в изображаемой действительности. Теперь мещанство из эпизода превращается в постоянную, часто ведущую тему почти всех новых замыслов писателя» [Тимофеев 2001, с. 227]. Автор «Мещан» признается в письме от 14 (26) октября 1878 г. к переводчику своих произведений на французский язык Виктору Дерели: «...в конце концов принялся за сильнейшего, может быть, врага человеческого, за Ваала и за поклонение Золотому тельцу, и только в прошлом году был глубоко утешен тем, что мещане и купцы (что под этими кличками я разумею, вы уясните себе из романа моего «Мещане»), мещане и купцы отодвинуты на задний план и в массе случаев опозорены. Открылось воочию всех, что мошенничества разных предпринимателей и поставщиков колоссальны, что торговля идет на постыднейшем обмане; банковские воровства чуть не каждодневно совершались и совершаются, и над всей этой мерзостью, как чистые ангелы, воссияли наши солдаты и офицеры; но довольно, всего не перескажешь, что кипит и волнуется в моей бы уж, кажется, старческой душе!» [Писемский 1936, с. 391–392].

В художественной архитектонике романа «мещанство» и «рыцарство» являются двумя этико-философскими полюсами, которые в конце концов и определяют смысл жизни человека. Мещанство представляет собой идеологию стяжательства, наживы, торжество материального над идеальным.

Понятие рыцарства в романе отсылает не к историко-культурному явлению европейского средневековья, а к вневременной этической философии человека. Рыцарство, по Писемскому, это такое отношение человека к миру, которое подразумевает ответственность человека за свои поступки, способность его к самопожертвованию. В основание понятия рыцарства в романе «Мещане» положена идея отказа от культа «Ваала» во имя вечного, по сути своей евангельского, идеала добра и красоты. По замечанию Н.Н. Грузинской, «в 70-е гг. в творчестве писателя все большую роль приобретает интеллектуальный анализ. <...> Философский характер романов Толстого и Достоевского, появление социального романа в русской литературе 60-х гг. – все это не прошло мимо уже старого мастера. Теперь А.Ф. Писемского интересует мировоззрение героев как таковое, а не только его проявление в поступках. Осмысление проблем современности самим героем стало необходимым элементом в идейном содержании романа» [Грузинская 1965, с. 33].

Главный герой романа Александр Иванович Бегушев – один из последних «лишних людей» в русской литературе. Писемский объясняет,

что Бегушев *«принадлежал к тому все более и более начинающему у нас редеть типу людей, про которых <...> можно сказать, что это <...> люди не практические, люди слова, а не дела; но при этом мы все-таки должны сознаться, что это люди очень умные, даровитые и – что дороже всего – люди в нравственном и умственном отношении независимые»* [Писемский 1959, с. 70]. Суждение автора о его герое легко соотносится с выводом о социально-философской природе типа «лишнего человека» в романе И.С. Тургенева «Рудин». В прощальном диалоге Рудина с Лежнёвым первый сетует на свою незадавшуюся жизнь, перефразируя высказывание своего литературно-философского предтечи – Гамлета: «Слова, все слова! дел не было!» – на что Лежнев резонно отвечает, что «доброе слово – тоже дело». Лежнев утверждает, что значение рудинского типа в русской жизни 1830–1840-х гг. заключается в способности такого рода людей к страстному отрицанию настоящего, при всей расплывчатости их представлений о будущем. Писемский спустя двадцать лет после публикации тургеневского романа представляет емко выраженный итог развития рудинского типа. Действительно, в современном исследовании о «русском гамлетизме» дается столь же лаконичная, как в романе Писемского, характеристика литературно-исторического типа «лишнего человека»: «...литературный тип, характерные черты которого – чуждость официальной жизни, душевная усталость, скептицизм, рефлексия, разлад между словом и делом, общественная пассивность...» [Левин 1978, с. 216].

В романе Бегушев озвучивает социально-историческую концепцию автора. Она заключается в том, что на смену идее самоотречения пришла идея самоутверждения. Носителями первой выступало «рыцарство», то есть лучшие люди нации – сильные духом, осуществившие прорыв человечества к вершинам культуры; носителями второй идеи стали купец и банкир – две ведущие фигуры процесса капитализации в России 1870-х гг. Бегушев рассуждает о смене исторических парадигм, в результате чего произошла утрата исконных ценностей человеческого общества – добра и красоты. Герой романа убежден, что старые (гуманистические и ориентированные на человека) ценности вытесняются из общественного сознания и замещаются новыми (буржуазными, постгуманистическими, в моральном своем выражении антигуманными). Образом-символом наступления последних времен человечества в представлении Бегушева стала Всемирная промышленная выставка в Лондоне (1863), которой великий современник Писемского Ф.М. Достоевский также придавал символическое значение, назвав здание Выставки из стекла и бетона «хрустальным дворцом». Это понятие в историософской системе Достоевского обозначало опасный сплав позитивизма, «политического»

социализма и атеизма. Герой Писемского, уверенный в том, что все «сплошь и кругом превращается в мещанство», признается: «...после Лондонской еще выставки, когда все чудеса искусств и изобретений свезли и стали их показывать за шиллинг <...> я тут же сказал: “Умерли и поэзия, и мысль, и искусство”...» [Писемский 1959, с. 21].

Нравственным судьей, последним «рыцарем» в романе становится Бегушев. Он пытается оценить все происходящее с позиций высшей справедливости.

Для того чтобы читатель поверил в колоссальную нравственную силу Бегушева, при отсутствии каких-либо зримых и убедительных результатов его деятельности, автор скрепляет этот образ моральным авторитетом Герцена¹. Имя героя – Александр Иванович Бегушев – представляет собой контаминацию имен и фамилий двух революционных деятелей разных эпох: Михаила Александровича Бестужева (1800–1871) и Александра Ивановича Герцена (1817–1870). В письме к иллюстрировавшему журнальный вариант романа² М.О. Микешину от 23 февраля 1877 г. писатель настаивает: «...в типе его (Бегушева. – Л.С.), когда будете набрасывать карандашом, постарайтесь сохранить характер лиц Бестужева и Герцена» [Писемский 1936, с. 342–343].

«Герценовское» в Бегушове, по замыслу автора, должно было подчеркнуть выражаемый героем нравственный тип «рыцаря». В письме к М.О. Микешину от 10 марта 1877 г. романист советует усилить внешнее выражение «рыцарственности» в портрете героя: «И вообще, при очень хорошем *думчивом* выражении лица Бегушева в фигуре его его как-то мало импозантности, мало *барина*, то есть того, на что есть прекрасный намек в “Короле Лире”. Когда этого несчастного короля в пустыне в рубище встречает одно из действующих лиц трагедии, то восклицает: “Король!” “Почему ты знаешь, что я король?” – спрашивает его Лир. “В тебе есть нечто такое, что говорит, что ты король!” – отвечает ему это лицо. Что барство Бегушева необходимо выразить, это вытекает из внутреннего смысла романа: на Бегушове-барине пробуются, как на оселке, окружающие его мещане, не будь его, они не были бы так ярки; он фон, на котором они рисуются» [Писемский 1936, с. 347].

¹ Об отношении Писемского к Герцену см.: Козьмин Б.П. Писемский и Герцен (К истории их взаимоотношений) // Козьмин Б.П. Литература и история. – М., 1982; Рошаль А.А. Писемский и революционная демократия. – Баку, 1971; Могилянский А.П. Новые данные для характеристики отношения Писемского к Герцену // Рус. литература. – 1966. – № 1; Пустовойт П.Г. К вопросу об отношении А. Ф. Писемского к А. И. Герцену // Рус. литература. – 1967. – № 1; Мысляков В.А. Белинский в творческом самоопределении А.Ф. Писемского // Рус. литература. – 1994.

² Роман печатался в еженедельнике «Пчела» (1877. № 18–49).

Действительно, Бегушев похож на Герцена не только внешне. Герой Писемского исповедует то же неверие в результаты западного прогресса, что и издатель «Колокола». Особенно сильно скептицизм Герцена по отношению к западной цивилизации как к комплексу историко-политических и социально-культурных явлений проявился в его трудах «Письма из Франции и Италии» (1847–1852), «С того берега» (первое издание на русском языке – 1855), «Концы и начала» (1862–1863).

В «Письмах из Франции и Италии» Герцен наблюдает за ходом революционных потрясений 1848 года в Европе. Публицистический цикл Герцена отражает непосредственные впечатления очевидца и, соответственно, разочарование человека, верившего в выдвинутые веком Просвещения гуманистические ценности. Ныне эти ценности попораны торжеством третьего сословия: «Революционеры первой революции (1789 г. – Л.С.) – идеалисты, художники. Мещане с самого появления представляют прозу жизни, домохозяина больше, нежели гражданина <...> Либералы-идеалисты толковали о самоотвержении и презирали на словах, а иногда и на самом деле – пользу; они любили “славу” и не занимались рентой. Буржуазия исключительно занимается рентой, смеется над самоотвержением и хлопочет только о пользе. Те приносили выгоду на жертву идеям, буржуазия принесла идеи на жертву выгодам. Те лили кровь за права – буржуазия теряет права, но бережет кровь. Она эгоистически труслива и может подняться до геройства только защищая собственность, рост, барыши» [Герцен 1956, с. 66].

Вывод об исторической безликости и временной ограниченности буржуазной эпохи повторяется в собрании герценовских писем-статей «С того берега»: «Все мельчает и вянет на истощенной почве – нету талантов. Нету творчества, нету силы мысли <...> блестящая эпоха индустрии проходит, она пережита так, как блестящая эпоха аристократии <...> образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным, все жмутся, все боятся, все живут, как лавочники, нравы мелкой буржуазии сделались общими; никто не берет оседлости, всё на время, наёмно, шатко» [Герцен 1956, с. 285].

Книга «Концы и начала» содержит в себе уже не впечатления очевидца событий 1848 года, а зрелые размышления социального философа. Герцен убежден, что абсолютно материальные и утилитарные цели, провозглашенные буржуазной республикой, противоречат идее прогресса. Движение человечества вперед подразумевает, по Герцену, помимо соблюдения социальной справедливости, развитие искусства и культуры, в том числе и культурных запросов человека. То, что происходит в Европе после 1848 года, по мнению публициста, противоположно этому представлению: «Мещанство – идеал, к которому

стремится, подымается Европа со всех точек дна. Эта та «курица во щах», о которой мечтал Генрих IV. Маленький дом с небольшими окнами на улицу, школа для сына, платье для дочери, работник для тяжелой работы, да это в самом деле гавань спасения <...> С мещанством стираются личности, но стёртые люди сытее; платья дюжинные, неказистые, не по талии, но число носящих их больше. С мещанством стирается красота породы, но растет ее благосостояние» [Герцен 1956, с. 470].

«Духовный скиталец» Бегушев страдает тем же неверием в европейский прогресс, что и его реальный прототип: *«Бегушев с лихорадочным волнением был свидетелем парижской революции 48-го года; но он был слишком умен и наблюдателен, чтоб тут же не заметить, что она наполовину состояла не из истинных революционеров, а из статистов революции. <...> Вера в Европу и ее политический прогресс в нем сильно поколебалась!..»* [Писемский 1959, с. 72]. Так же, как и Герцен, герой Писемского размышляет о победе «третьего сословия» над пролетариатом в июне 1848 года. Его оценки этого исторического катаклизма полностью совпадают с герценовскими. В представлении Бегушева это крупное историческое поражение всей европейской цивилизации, отныне обреченной на угасание: *«Таким образом, в Европе для Бегушева ничего не оставалось привлекательного и заманчивого. Мысль, что там всё мало-помалу превращается в мещанство, более и более в нем укоренялась. Всякий европейский человек ему казался лавочником, и он с клятвою уверял, что от каждого из них носом даже чувствовал запах медных пятак. Вообще все суждения его об Европе отличались злостью, остроумием и, пожалуй, справедливостью, доходящую иногда до пророчества: еще задолго, например, до франко-прусской войны он говорил: “Пусть г-да Кошуты и Мадзини сходят со сцены: им там нет более места, – из-за задних гор показывается каска Бисмарка”»* [Писемский 1959, с. 72–73].

Бегушев не согласен променять высшие идеи на земной комфорт – примером этого комфорта является та же «курица во щах», что и в статье Герцена: *«Ну, нет!.. Нет!.. Пусть лучше сойдет на землю огненный дождь, потоп, лопнет кора земная, но я этой курицы во щах, о которой мечтал Генрих Четвертый, миру не желаю. <...> Бога на землю! Пусть сойдет снова Христос и обновит души, а иначе в человеке все порядочное исчахнет и издохнет от смрада ваших материальных благ»* [Писемский 1959, с. 23–24]. Для Бегушева неприемлем такой порядок мира, при котором результатами интеллектуальных и эстетических усилий всего человечества пользуется «мещанин»: *«Великолепные мыслители иссушили свои тяжеловесные мозги, чтобы дать миру новые открытия, а Таганка, эксплуатируя эти открытия и обсчитывая при этом работника, зашибла*

и тут себе копейку и теперь комфортабельнейшим образом разъезжает в вагонах первого класса и поздравляет своих знакомых по телеграфу со всяком вздором... Наконец, сам Бетховен и божественный Рафаэль как будто бы затем только и горели своим вдохновением, чтобы развлекать Таганку и Якиманку или, лучше сказать, механически раздражать их слух и услаждать их чехвальство» [Писемский 1959, с. 12].

В самом деле, фразеология Бегушева близка герценовской. Вместе с тем не следует забывать, что мировоззрение Писемского, в целом стихийно-демократическое, тяготело к умеренному либерализму в общественно-политических вопросах. Это вызывало немалое раздражение критиков из революционно-демократического лагеря. Так, Н.В. Шелгунов, рассматривая творчество писателя 1860-х гг., в полемическом раздражении заметил, что считает «талант г. Писемского очень маленьким, а кругозор его очень узким» [Шелгунов 1974, с. 49]. Ведущий критик журнала «Дело» выносит свой приговор: «Г-н Писемский при всех своих способностях далеко не мыслитель, и претензия его рисовать широкие, всероссийские картины вовсе не соответствует его силе анализа и способности понимать верно исторический смысл явлений» [Шелгунов 1974, с. 49]. Разумеется, признание исторической необходимости революционных перемен, которые подразумевались критиком, было чуждо автору «Мещан». Скептицизм Писемского не находил выхода в какой-либо общественно-политической программе. Отсюда распространенный в современной писателю критике тезис о «безыдеальности» его творчества. Например, Н.Н. Страхов утверждает: «Писемский изображал ее (российской жизни. – Л.С.) безобразие и фальшь <...> не сознавая отчетливо, во имя каких идеалов он казнит это безобразие, так что иногда выходило, что безобразие имеет все права существовать, так как оно-то и есть истинное и действительное явление, а все остальное только фальшь и призрак» [Страхов 2000, с. 41].

Однако возражение современников Писемского вызывает скорее не его идеология, а свойственный ему способ художественного изображения. Реализм Писемского исключает авторское вмешательство в воссоздаваемую действительность; этический смысл произведений писателя вытекает из самой реальности текста. По афористичному выражению Н.Г. Чернышевского, «у г. Писемского спокойствие не есть равнодушие» [Чернышевский 1983, с. 196].

Герой Писемского не приемлет того порядка жизни, который он наблюдал когда-то в Европе и который утвердился в России семидесятых годов. На поклонение золотому тельцу пошло дворянство, с которым прежде связывал свои исторические надежды Бегушев: «Я совершенно убежден, что все ваши московские Сент-Жермены, то есть Тверские

бульвары, Большие и Малые Никитские, о том только и мечтают, чтобы как-нибудь уподобиться и сравниться с Таганкой и Якиманкой» [Писемский 1959, с. 13]. Купеческий район Москвы – Таганка и Якиманка – в представлении Бегушева такой же символ нового безыдеального времени, как и Всемирная лондонская выставка: «Таганка и Якиманка – безапелляционные судьи актера, музыканта, поэта; о печальные времена!» [Писемский 1959, с. 12]; «совесть людей становится в руках Таганки и Якиманки» [Писемский 1959, с. 12].

В романе тип дворянина-дельца, «дворянина во мещанстве» воплощен в аферисте князе Мамелокове, в профессиональном приживальщике графе Хвостикове, в подрядчике на железнодорожном строительстве «полковнике» (чин и мундир были куплены для «солидности») Янсутском. Все эти персонажи объединены жадной несправедливой наживы; нравственные сомнения им чужды. Граф Хвостиков торгует красотой своей дочери Елизаветы Николаевны Меровой, а князь Мамелоков, злостный должник добрейшей сестры Бегушева, скрывается от уплаты по векселям за границей. Бегство, а стало быть, и юридическая неуязвимость Мамелокова еще раз доказывает, что люди с непоколебимыми правилами дворянской чести, такие, как Бегушев и его сестра Аделаида Ивановна, исторически обречены, а будущее принадлежит титулованным и нетитулованным дельцам разных мастей. «Мещанство» становится главным сословием в российской социальной действительности 1870-х гг., пополняя свои ряды неразборчивым в средствах дворянством и мечтающим о комфорте чиновничеством: вспомним об одном из высших чиновников – тайном советнике Тюменеве.

Общий меркантильный порядок жизни захватил не только исконную для него сферу торгова. Выгодными предприятиями, несомненно, являются щедро оплаченный некролог беспутному Олухову, сочиненный «благородным» графом Хвостиковым; женитьба «на деньгах» доктора Перехватова; проценты с сомнительных сделок стряпчего Грохова и т.п. Грубая материальная сила вторгается в частные взаимоотношения людей, заставляя подмянуть их высокие побуждения расчетом, низводя чувства до уровня торговой сделки. Упования Домны Осиповны Олуховой на бегушевский подарок в виде миленькой дачки, мелькнувшая у нее мысль о наследстве Бегушева, сам брак ее с Олуховым носят меркантильный характер.

Торжествующее мещанство требует особой эстетики – выстраивает свои формы прекрасного, вынашивает свое представление о красоте. Создавая массовую культуру той эпохи, «Таганка и Якиманка» не скупятся на сусальное золото, убогое подражание высокой материальной культуре аристократии. Формируется особенный тип красоты –

неодухотворенной, слишком яркой, кричащей. Такого рода красотой выделяется Домна Осиповна Олухова, цель жизни которой – приумножение капитала. По законам поэтики Писемского, характер героини реализуется в плотном предметном контексте¹. Вещи, которые окружают Олухову, ее привычки, вкусы и манеры отражают стремление «казаться», а не «быть», стремление играть чуждую ей социокультурную роль. Дом богатой купчихи украшен *«всевозможными выпуклостями»*, а комнаты *«представляли в себе как-то слишком много золота»* [Писемский 1959, с. 9]. Одним словом, *«во всем чувствовалась какая-то неизящная и очень недорогая роскошь»* [Писемский 1959, с. 10].

Автор безжалостно уничтожает иллюзии Бегушева относительно душевной тонкости Домны Осиповны, описывая бытовые мелочи: *«Будь он (Бегушев. – Л.С.) менее погружён в свои собственные мысли, он, может быть, заметил бы маленькие, тем не менее характерные факты. Он увидел бы, например, что между сиденьем и спинкой дивана затиснут был грязный батистовый платок, перед тем только что покрывавший больное горло хозяйки, и что чистый надет уже был теперь, лишь сию минуту, что под развернутой книгой журнала, и развернутой, как видно, совершенно случайно, на какой бог привел странице, так что предыдущие и последующие листы перед этой страницей не были даже разрезаны, – скрывались крошки черного хлеба и не совсем свежей колбасы, которую кушала хозяйка и почти вышвырнула ее в другую комнату, когда раздался звонок Бегушева»* [Писемский 1959, с. 11].

Изучив вещи, которые окружают героиню, автор рассматривает саму Домну Осиповну. Портрет героини обнаруживает в ее характере излишек искусственного, деланного; красота ее поверхностна и, пожалуй, лжива: *«...в красоте ее было чересчур много эффектного и какого-то мертво-эффектного, мазочного, – она, кажется, немного и притиралась. Взгляд ее черных глаз был умен, но в то же время того, что дается образованием и вращением мысли в более высших сферах человеческих знаний и человеческих чувствований, в нем не было. Несомненно, что Домна Осиповна думала и чувствовала много. Но только все это происходило в области самых низших людских горестей и радостей. Самая глубина ее взгляда скорей говорила об лукавстве, затаенности и терпеливости, чем о деликатности натуры, способной глубоко чувствовать»* [Писемский 1959, с. 11]. Становится понятным, почему Бегушева хозяйка приветствовала «как бы не совсем искренним голосом»: она старалась произвести на именитого гостя впечатление дамы из

¹ См. об этом нашу статью: Синякова Л.Н. Вещь и жест в антропологии Писемского // Книга и литература в культурном контексте. – Новосибирск, 2003.

высшего света, то есть солгать. Домну Осиповну выдает и взгляд, и голос, и «быт». Писемский мастерски соединяет психологический анализ с натуралистическим описанием.

Красота купчихи Олуховой являет форму без содержания. Приятель Бегушева Тюменев, любуясь портретом Домны Осиповны, все же замечает: «...черты лица правильные, но склад губ и выражение рта не совсем приятны <...> нет этого доброго, кроткого и почти ангельского выражения, которого так много было у твоей покойной Наталии Сергеевны (подруга Бегушева, идеальный женский образ в романе. – Л.С.)» [Писемский 1959, с. 21]. По сути, Тюменев противопоставил «ангельское» тому, что увидел (земное, приземленное, отчасти даже inferнальное); склад губ изобличает своенравие и скрытую агрессивность изображенного на портрете оригинала.

Бегушев в конце концов осознает чуждость ему Домны Осиповны, которая, спасая капитал, отрекается от бескорыстной любви Бегушева в пользу богатого беспутного Олухова. Когда Домна Осиповна аргументирует необходимость пустить супруга в свой дом тем, что иначе дед-сибиряк лишит того наследства, Бегушев испытывает нравственное потрясение: «Бегушев понимал, что в словах Домны Осиповны была, пожалуй, правда, только правда эта была из какого-то совершенно иного мира, ему чуждого...» [Писемский 1959, с. 98]. Двойственная логика Домны Осиповны (в этой логической системе равноценны денежные и личные отношения) оборачивается двойственной моралью – в жизненной ситуации Олуховой это грозит превратиться в банальный адюльтер. Бегушев же, как человек цельный, отвергает выгоду ради истины, ему претит «ложь – всеобщая, круговая, на которой должна устроиться вся будущая жизнь наша!» [Писемский 1959, с. 98].

В романе «Мещане» два персонажа находятся вне круга лжи: это Бегушев и Мерова. Бескорыстие и наивность Меровой подчеркиваются ее ненаигранной (что сразу разительно отличает ее от ее подруги Олуховой) детскостью. Писемский обращается к М.О. Микешину, просмотрев набросок иллюстрации к роману: «У Меровой не находите ли вы слишком лукавым взгляд ее? Она кокетка, но простодушная» [Писемский 1936, с. 348]. Для писателя важна способность человека к непосредственному переживанию, отсутствие позы, рисовки, ложной значительности. Бегушева и Мерову объединяет умение чувствовать любую фальшь, будь то утрировка купечески пышного наряда Олуховой или суетливость Янсутского, перенесшего свои именины на день раньше ради сановного гостя – Тюменева. Не случайно оба эти персонажа гибнут – им не находится места в новой исторической действительности. Бегство главного героя добровольцем на Кавказ, воссоздающее сюжетное клише

романтической литературы, в сущности является поступком философского самоубийцы: *«Закравшаяся мысль идти на войну, буде она разгорится, стала ему казаться единственным исходом из своего мучительного и бесцельного существования»* [Писемский 1959, с. 269]. Гибель Бегушева символически отражает суть эпохи: последний «лишний человек» ушел из русской жизни.

Впрочем, проигрывают все – и идеалист Бегушев, и сонм «практических людей», вовлеченных в схватку капиталов и меркантильных интересов. Сходит с ума разоренная Домна Осиповна, безобразнейшим образом погибает ее муж, Мерова скончалась от скоротечной чахотки, пройдоха Грохов умирает от чрезмерного пьянства, оставив своему брату – безвестному дьякону – восемьсот тысяч рублей серебром. Купец Хмурин, центральная фигура в сюжете о крахе акций, осужден, и ему грозит каторга.

Исторический пессимизм автора «Мещан» звучит и в заключительных строках романа, когда Писемский сравнивает ничтожную суету «мещан» с героизмом русских воинов в развернувшейся русско-турецкой войне 1877–1878 гг.: *«Но кто же, кто счастлив из выведенных вами лиц?» – может быть, спросит читатель. По-моему, пока одни Янсутские, Офонькины, Перехватовы и вообще tutti quanti. А что-то там, на далеком юге, происходит?.. Когда я пишу эти последние слова, мороз и огонь овладевают попеременно всем существом моим, и что тут сказать: бейтесь и умирайте, рыцари, проливайте вашу кровь, начиная уже с царственной и кончая последним барабаничком. История, конечно, оценит ваши подвиги...»* [Писемский 1959, с. 338]. Так же, как и автор, видит спасительные начала во вспыхнувшем южнославянском движении его герой Бегушев: *«Меня в этой войне одно радует <...> что пусть хоть на время рыцарь проснется, а мещанин позатихнет!»* [Писемский 1959, с. 318].

Таким образом, для Писемского эпоха 1870-х годов была эпохой полного забвения высших начал жизни. В социально-историческом плане, как показывает писатель в романе «Мещане», 1870-е годы были временем грандиозных финансовых афер, молниеносных обогащений и таких же молниеносных разорений, сопровождавших процесс становления капитализма в России; главенствующими фигурами в этом процессе, по Писемскому, стали купец и мошенник (чаще просто купец-мошенник). В морально-этическом выражении эпоха 1870-х годов для писателя стала обозначением торжества лжи, триумфа низких страстей. И все-таки писатель в самом прагматизме эпохи пытается найти ростки отрицания этого прагматизма. По Писемскому, ложь никого не спасет, а отрицание лжи непременно выведет к правде. Возможно, для «позднего» Писемского

оказывалась близкой истина Христовых заветов и выход мог быть обозначен в плоскости православного смирения¹. Работая над романом, писатель сообщал И.С. Тургеневу: «Что касается до меня, то физически я здоров, но никак нельзя этого сказать про мою умственную и нравственную сторону: ипохондрия мучит меня невыносимейшим образом; не только что не могу писать, но даже от всякого хоть сколько-нибудь умственного занятия чувствую полнейшее отвращение <...> слава Богу, что всё более и более раскрывающееся во мне религиозное чувство еще дает некоторое успокоение и подкрепление моей страдающей душе» [Писемский 1936, с. 335]. Роман «Мещане» доказывает необходимость существования высшей нравственной идеи «от противного».

Социально-философский роман «Мещане» органично входит в русскую литературу 1870-х гг., пытаясь разрешить прежде всего нравственные проблемы современности.

Литература

1. Герцен А.И. Сочинения. В 9 т. – М., 1956.
2. Грузинская Н.Н. Средства раскрытия характера главного героя в романе А.Ф. Писемского «Мещане» // Вопр. лит. и языка. – Томск, 1965.
3. Левин Ю.Д. Русский гамлетизм // От романтизма к реализму. – Л., 1978.
4. Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. – М., 1959. – Т. 7.
5. Писемский А.Ф. Письма. – М.; Л., 1936.
6. Страхов Н.Н. Литературная критика. – СПб., 2000.
7. Тимофеев А.В. Алексей Феофилактович Писемский // История русской литературы XIX века. 70–90-е годы. – М., 2001.
8. Чернышевский Н.Г. Письма без адреса. – М., 1983.
9. Шелгунов Н.В. Литературная критика. – Л., 1974.

¹ В целом о характере религиозности Писемского см.: Дунаев М.М. Православие и русская литература: В 6 ч. – М., 2002. – Ч. 3.

**ИГРЫ СО ВРЕМЕНЕМ:
СЕМИОТИКА ЧАСОВ В СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ
1920–40-Х ГГ.**

А.И. Куляпин, О.А. Скубач

Революция – даже если она не отменяет прежнее летоисчисление и календарь – неизбежно создает новое ощущение времени. Сломать сложившийся ритм жизни – одна из задач революции: локомотивы истории призваны ускорить ход времени. Б. Пильняк в романе «Гольный год» (1922) описывает старинные часы, у которых только одна стрелка, «показывающая каждые пять минут верно потому, что в старину не жалели минут» [Пильняк 1994, т. 1, с. 121]. Председатель комитета бедноты, захватившего поместье, бросив княжеские часы в нужник, расправляется с прошлым и буквально, и символически. Согласно Б. Пильняку, новому темпу жизни точно соответствуют ритмы природных стихий – метели и ветра, а соборные куранты, часы XVIII века с бронзовыми пастухом и пастушкой, ходики, – для отсчета времени революционной эпохи не пригодны. «Часы закладывайте и продавайте», – советует изобретатель Чудаков из драмы В. Маяковского «Баня» (1930). – «Скоро эта тикающая плоская глупость станет смешнее, чем лучина на Днепрострое, чем бык в Автодоре» [Маяковский 1978, т. 10, с. 67].

Время в культуре XX века – уже не фатальная, всесокрушающая, неподвластная никому сила. Движение времени можно и нужно контролировать. Машина времени со страниц фантастических романов перекочевала в жизнь. Лозунг для спектакля «Баня»: «К социализму лети в пятилетке, в нашей машине времени!» [Маяковский 1978, т. 10, с. 142], – называет вещи своими именами. Провозгласив выполнение пятилетки в четыре года, власть сконструировала простейшую модель машины времени.

Официальная культура всячески пропагандирует идею ускорения: «Клячу истории загоним» [Маяковский 1978, т. 1, с. 185]; «Вперед, время! / Время, вперед!» [Маяковский 1978, т. 10, с. 126]. Отношение же к возможности «подморозить время» (торможение или даже движение вспять) резко отрицательное. Лед, сохранивший тело героя комедии «Клоп» (1929) Присыпкина для воскрешения в коммунистическом

будущем, – это тоже своеобразная машина времени, но, с точки зрения лидера футуризма, негодная. В. Маяковский героизирует энтузиастов, «разогревающих» время. *«Стекло закипает», «накаляется до невозможности», «огонь несем», «адово пламя»* [Маяковский 1978, т. 10, с. 108], – такова советская машина времени в действии.

М. Булгаков, писатель, принципиально не приемлющий идею революционного скачка в развитии общества, к образу машины времени, тем не менее, обращается даже чаще своего постоянного оппонента В. Маяковского (*«Блаженство»*, 1929–34; *«Иван Васильевич»*, 1935–36).

Историософская концепция М. Булгакова складывается уже в его раннем творчестве. Скепсис писателя относительно скорости «секунда – год» [Маяковский 1978, т. 10, с. 114] недвусмысленно заявлен в рассказе *«Китайская история»* (1923). Интертекстуально насыщенный сон-утопия переносит главного героя в хрустальный дворец, где огромные часы *«звенели каждую минуту, лишь только золотые стрелки обегали круг»* [Булгаков 1989–1990, т. 1, с. 453]. Управляет ходом часов полностью «окитаевшийся» Ленин «в желтой кофте, с огромной блестящей и тугой косой, в шапочке с пуговкой на темени»: *«Он схватывал за хвост стрелку-маятник и гнал ее вправо – тогда часы звенели налево, а когда гнал влево – колокола звенели направо»* [Булгаков 1989–1990, т. 1, с. 453].

За причудливой фантастикой сновидения угадывается историческая реальность. Незадолго до приема опиума, вызвавшего сказочное видение, старый китаец вводит ходю в курс политических событий: *«Ленин – есть. Самый главный очень есть. Буржуи – нет, о, нет! Зато Красная Армия есть. Много – есть. Музыка? Да, да. Музыка, потому что Ленин. В башне с часами – сиди, сиди»* [Булгаков 1989–1990, т. 1, с. 452]. Упомянутую стариком башню чуть раньше видит сам ходя: *«За углом зубчатой громады высоко заиграла колокольная музыка. Колокола лепетали невнятно, вперевод, но все же было очевидно, что они хотят сыграть складно и победоносно какую-то мелодию. Ходя затопал за угол и, посмотрев вдаль и вверх, убедился, что музыка происходит из круглых черных часов с золотыми стрелками, на серой длинной башне»* [Булгаков 1989–1990, т. 1, с. 450]. В последнем описании нельзя не узнать кремлевские куранты, ассоциативно с ними связаны и все остальные часы.

В хрустальном утопическом мире время не идет, а летит. Золотые стрелки (то есть не только секундная) обегают круг за минуту. Вмешательство Ленина деструктивно. Он препятствует нормальному течению времени. Ускорение оборачивается застоєм. Более того, здесь действует известный принцип «шаг вперед, два шага назад».

Время реальное также крайне нестабильно. С поразительной неопределенностью указан возраст героев. Ходя – *«настоящий*

шафранный представитель Небесной империи, лет 25, а может быть, и сорока? Черт его знает! Кажется, ему было 23 года» [Булгаков 1989–1990, т. 1, с. 449]. Старик – «очень пожилой китаец. Ему было лет 55, а может быть, и восемьдесят» [Булгаков 1989–1990, т. 1, с. 451]. Опиум способен разгонять время до невыносимой скорости. Из комнаты старика-наркоторговца ходя вышел «на пятый день постаревший лет на пять» [Булгаков 1989–1990, т. 1, с. 453]. Опиумное ускорение иллюзорно, ничего позитивного оно не приносит – только преждевременное старение.

Впрочем, мнимое пребывание в течение пяти дней в стране утопии имеет для ходя совсем не мнимые последствия. На улицу герой выходит «уже не в полушубке, а в мешке с черным клеймом на спине “цейх № 4712”» [Булгаков 1989–1990, т. 1, с. 453]. Ходя отмечен несмываемым знаком утопического мира. Он подобен замятинским «нумерам» из романа «Мь». Кстати, среди героев Е. Замятина есть персонаж «S-4711». Продолжая числовой ряд, автор «Китайской истории» тем самым подхватывает антиутопический пафос предшественника.

Сближение утопических и онейрических мотивов привычно в русской литературе. М. Булгаков новаторски остраивает устоявшееся сюжетное решение, сделав пропуском в хрустальный мир порцию опиума. Действие большевистской революции на страну аналогично действию наркотика на человека. Результат и в том и в другом случае – быстрое старение и разрушение организма. Революция, а не религия, – опиум для народа.

На кардинальное расхождение своей позиции с официальной идеологией указал сам М. Булгаков в письме «Правительству СССР» (28 марта 1930 г.), назвав среди главных черт своего творчества «глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной и Великой Эволюции» [Булгаков 1989–1990, т. 5, с. 446].

Итогом «Китайской истории» становится вывод о неизбежности превращения революционной России в новую Поднебесную империю – символ тысячелетней неподвижности. Социальный взрыв ведет к возрастанию не энергии, как ожидалось, а энтропии.

Идея М. Булгакова получает парадоксальное подтверждение в «Бане» В. Маяковского. «Бюро по отбору и переброске в коммунистический век» работает в атмосфере «приподнятости и боевого беспорядка первых октябрьских дней» [Маяковский 1978, т. 10, с. 113]. Порыв в будущее и здесь оканчивается провалом в прошлое.

Функция любого ритуала – воскресить события мифологического первовремени. Насквозь ритуализованная культура сталинизма намертво прикована к сакральным истокам советской цивилизации – Октябрю 1917

года. В этих условиях двигаться можно либо «назад в будущее», либо «вперед в прошлое».

Концепция убыстрения исторического процесса, постоянное стремление «догнать и перегнать», характеризуют один аспект советского ощущения времени. Другой, пожалуй, даже более существенный, связан с установкой на тотальную регламентацию. Не зря герой-рассказчик Е. Замятина – Д-503 – свое повествование о совершенном мире начинает с дифирамба «Часовой Скрижали»: «*о, Скрижаль, о, сердце и пульс Единого Государства*» [Замятин 1989, с. 555]. Логично, что последнее препятствие на пути к всеобщему счастью Д-503 видит в так называемых «Личных Часах», нарушающих слаженную работу социального механизма. Оппозиция двух типов времени, обозначенная в антиутопии Е. Замятина «Мы», делается для советской культуры основополагающей.

Н. Погодин придал статус государственного мифа сюжету о восстановлении и перенастройке часов со Спасской башни. В пьесе «Кремлевские куранты» (1941) работа по реконструкции главных часов страны инициирована и контролируется Лениным – подлинным властелином времени. Будущее вождь видит так же отчетливо, как настоящее. И у В. Маяковского, и у Н. Погодина Ленин хорошо знает «то, что временем закрыто» [Маяковский 1978, т. 3, с. 260]. Рефреном беседы Ленина с английским писателем (в нем легко узнается автор «Машины времени» Г. Уэллс) становится трижды повторенное приглашение: «*Приезжайте к нам через десять лет*» [Погодин 1972–1973, т. 2, с. 139–140]. В одном случае реплику «кремлевского мечтателя» сопровождает пробный бой кремлевских курантов – «две-три ноты “Интернационала”» [Погодин 1972–1973, т. 2, с. 140]. Куранты Спасской башни – это те же куранты, что отсчитывали время при династии Романовых, но их учат играть пролетарский гимн. Смена идейно-политической доминанты ведет к смене временной парадигмы.

Изменения в коллективных представлениях о времени непосредственно влияют на судьбу скромного часовщика – героя почти аллегорического. Этот безымянный персонаж рекомендует себя Председателю Совета Народных Комиссаров как «кустаря-одиночку без мотора» [Погодин 1972–1973, т. 2, с. 120]. «Кустарь-одиночка» в данном случае – не столько социальный статус, сколько состояние души. Гордость мастера, отремонтировавшего трехсотлетние английские часы Нортон, неуместна. В новом мире «не до уникальных часов» [Погодин 1972–1973, т. 2, с. 121].

Даже оппоненты большевиков сферой частной жизни демонстративно пренебрегают. На многозначительные сетования инженера Забелина (*«испортились главные часы в государстве. Молчат кремлевские*

куранты») «толстая краснолицая» торговка куклами отвечает: «У меня тоже с комода будильник упал и остановился. У кого починить, не знаю». Реакция старорежимного интеллигента выглядит, пожалуй, излишне жесткой: «Простите, вы сказали глупость» [Погодин 1972–1973, т. 2, с. 77]. Починить будильник торговке вряд ли удастся, ведь мастер, когда-то ремонтировавший комнатные и карманные часы, теперь мобилизован для ремонта кремлевских курантов – советской Часовой Скрижали. Пьеса Н. Погодина завершается патетическими словами Ленина под бой часов на Спасской башне: «Слышите... а? Играют... это великое дело. Когда сбудется все, о чем мы теперь лишь мечтаем, из-за чего спорим, мучаемся, они будут отсчитывать новое время, и то время будет свидетелем новых планов электрификации, новых мечтаний, новых дерзаний» [Погодин 1972–1973, т. 2, с. 144]. «Новое время» окончательно отменяет старое – время будильников и Нортонов.

Володя Макаров, олицетворенное будущее в романе Ю. Олеши «Зависть» (1927), проповедует: «история и время одно и то же, двойники. <...> Я говорю: главным чувством человека должно быть понимание времени» [Олеша 1965, с. 90]. Сам писатель, безусловно, стремился понять время, но все же его взаимоотношения с историей оказались очень неоднозначными. В дневнике Ю. Олеши есть запись:

«Я никогда не имел часов, не покупал их, и никогда мне их не дарили. Я иногда говорю красивые слова о том, что мои часы на башнях.

Какое чудо эти башенные часы! Посмотрите на часы Спасской башни. Кажется, что кто-то плывет в лодке, взмахивая золотыми веслами. Полюбуйтесь камнем самой башни вокруг часов, облаками подальше от них, деревьями и крышами внизу. Сколько угодно метафор о времени приходит в голову, когда смотришь на такой циферблат над городом. Можно сказать, что это ты сам сидишь в лодке и взмахиваешь золотыми веслами жизни» [Олеша 1999, с. 314].

Отсутствие собственных часов неизбежно ведет к «выпадению» из временного потока: человек не сможет упорядочить свою жизнь, соотнести ее ритм с работой социального организма. Бессознательно Ю. Олеша хочет «проснуться от кошмара истории», подобно герою Джойса Стивену Дедалу («Улисс»). Вся жизнь писателя – доказательство тому. Но на уровне сознательных установок он не может отказаться от попытки угнаться «за гремящей бурей века» [Олеша 1965, с. 252]. Пассивное созерцание того, как кто-то плывет в лодке по реке времени, сменяется мечтой о более активном участии в управлении течением жизни.

Продолжение дневниковой записи столь же амбивалентно:

«Не имея никогда часов, я научился точно определять время и без них. Я ошибаюсь на пять, десять, самое большее, и то только ночью, проснувшись, – на пятнадцать минут. В тот дремучий час ночи, в какие-нибудь без четверти четыре, когда мышшь подходит к мышеловке, я могу определить время.

Это не такое уж важное качество, но дело не в самом качестве, а в том, что если оно есть, то, значит, и правда я часть мира, который существует помимо меня» [Олеша 1999, с. 315].

Конфликт Ю. Олеша с эпохой протекал в предельно острой форме. Писатель доходил порой до полного отрицания окружающего мира, до философского солипсизма. Тем важнее то чувство времени, о котором идет речь в дневниковой записи, оно – связующая с реальностью нить.

Фраза о башенных часах – следствие привычки писателя «говорить красиво». На самом деле его время отмеряется не курантами, а событиями мышшиной жизни. Хотя природа располагает, конечно, и другими – более величественными – инструментами времяисчисления. Для социального банкрота Кавалерова (alter ego Ю. Олеша) утешителен взгляд с точки зрения вечности: *«Жизнь человеческая ничтожна. Грозно движение миров. Когда я поселился здесь, солнечный заяц в два часа дня сидел на косяке двери. Прошло тридцать шесть дней. Заяц перепрыгнул в другую комнату. Земля прошла очередную часть пути. Солнечный зайчик, детская игрушка, напоминает нам о вечности»* [Олеша 1965, с. 42].

Солнечные часы не только экзотическая деталь советского быта, знак технической и культурной деградации страны. Огромен их семиотический потенциал, с максимальной полнотой разработанный писателями 1920–30-х годов.

Солнечными будильниками пользуются герои М. Зощенко («Дырка», 1927) и Л. Леонова («Соть», 1929). Сходство сюжетов лишь оттеняет разницу идеологий.

Леоновский Увадьев солнцем «пользовался, как часами» [Леонов 1969–1972, т. 4, с. 289]. *«Окно новой увадьевской квартиры выходило на восточную сторону: солнце гостевало здесь по утрам. В шесть желтый ромб света полз еще по бревенчатой стене»* [Леонов 1969–1972, т. 4, с. 289]. День своего сорокалетия Увадьев отмечает нарушением заведенного уклада: он просыпается на два часа позже обычного: «часы показывали восемь, – в отмену установившихся привычек он проспал начало дня» [Леонов 1969–1972, т. 4, с. 289]. Жест многозначный, но, пожалуй, основное в нем – это неподчинение природной непреложности. Жить по солнечным часам – не значит жить в гармонии с природой. Собственное «нескладное тело, начиненное слабостями» мешает герою,

целых сорок лет не дает «ему по-настоящему предаться работе» [Леонов 1969–1972, т. 4, с. 289].

В рассказе М. Зощенко ситуация почти та же, что в романе Л. Леонова. Герой просыпается по солнцу: *«Около печки на полу у меня имеется довольно большое отверстие, вроде бы дыра неизвестного происхождения. И как солнце до этой дырки достигает, так, значит, не говоря худого слова, без пяти семь, и, значит, вам пора вставать»* [Зощенко 2000, с. 577].

Дырка становится в художественном мире М. Зощенко мерой всех вещей. Так, в знаменитой «Бане» (1925) рассказчик способен отличить свои штаны только по расположению прорехи: *«На моих тут дырка была. А на этих эвон где»* [Зощенко 2000, с. 397]. Выбор точки отсчета воистину символичен.

Зощенковский персонаж измучен скудостью, хаотичностью, нестабильностью советской жизни. Только ему (в отличие от Николая Кавалерова из романа Ю. Олеши) не дано, пусть иллюзорное, ощущение взлета над суетой через приобщение к астральным ритмам:

«Но, впрочем, и солнце, это довольно точное светило, давеча меня подвело.

Давеча отрываюсь от подушки и гляжу на свои естественные часы. И вижу – до дырки довольно далеко. “Значит, думаю, половина седьмого. Можно, думаю, еще полчаса вздремнуть”.

Дремлю полчаса. Встаю не торопясь. Иду на службу. Опоздал, говорят.

Ну прямо верить отказываюсь» [Зощенко 2000, с. 577].

Подвело, конечно, не солнце – *«пол слегка <...> сдвинулся. По причине жучка. Жучок балку съел. Кажется, скоро на потолке жить придется»* [Зощенко 2000, с. 577]. Но звезды советского небосклона все равно не внушают особого доверия. На *«естественные часы»* надежда столь же плоха, как и на *«трест Точной Механики»* [Зощенко 2000, с. 576].

Единственная реальная альтернатива – *«побежать к Финляндскому вокзалу посмотреть, сколько часов»* [Зощенко 2000, с. 576]. Финляндский вокзал в мифологии большевистской революции занимает далеко не последнее место. Сюда 3 апреля 1917 года прибыл из эмиграции Ленин и выступил на привокзальной площади со знаменитой речью. Стоя на броневике, Ленин призвал к свершению социалистической революции. Часы Финляндского вокзала, подобно кремлевским курантам, отмеряют время историческое. А к нему путь героям М. Зощенко закрыт: *«это не так уж чересчур просто»* [Зощенко 2000, с. 577]. Часы зощенковских

персонажей уж точно – не на башнях. При этом утопическая идея тотальной регламентации жизни вовсе не чужда М. Зощенко.

Научная часть повести «Возвращенная молодость» (1933) содержит сочувственное описание *«изумительного опыта человека, приравнявшего свой организм к точнейшей машине»* [Зощенко 1994, т. 3, с. 98]. Как «нумера» из романа Е. Замятина, Кант строжайшим образом подчинил ритм своей жизни своеобразной «Часовой скрижали».

«Вся его жизнь была размерена, высчитана и уподоблена точнейшему хронометру. Ровно в десять часов он ложился в постель, ровно в пять он вставал. И в продолжение 30 лет он ни разу не встал не вовремя. Ровно в семь часов он выходил на прогулку. Жители Кенигсберга проверяли по нем свои часы.

Все в его жизни было размерено, заранее решено, и все было продумано до самой малейшей подробности, до ежедневной росписи кушаньям и до цвета каждой отдельной одежды» [Зощенко 1994, т. 3, с. 97].

Кантовская «часовая скрижаль» индивидуальна: не общество навязывает человеку определенный распорядок – наоборот, личность диктует социуму свои условия.

Бытовое поведение М. Зощенко типологически сходно с кантовским, разумеется без маниакальных крайностей последнего. И. Кичанова–Лифшиц вспоминает: *«Он успевал всюду, и при этом в нем не было ни тени торопливости. В памяти остался его остро отрезвляющий жест: сидя в любой компании и ведя интересный разговор, он вдруг доставал из кармана часы на цепочке и мельком глядел на них. Это значило – сейчас он встанет и попрощается. И не было такой силы, которая могла бы его удержать хотя бы на минуту, если время его звало»* [Кичанова–Лифшиц 1995, с. 441].

М. Зощенко подчинен внутренней «часовой скрижали», что освобождает от излишне назойливого контроля социума. Мемуаристка удачно определяет жест писателя как «остро отрезвляющий». Труднее всего упорядочить дионисийскую стихию, но М. Зощенко готов и к этому.

Забавным автошаржем можно счесть героя рассказа «Сильное средство» (1925) – Петра Антоновича Коленкорова (тем более что «Коленкоров» – один из псевдонимов М. Зощенко). Жизненный цикл персонажа подвластен закону периодической смены стадий порядка и хаоса. Работая по будням, *«по воскресным дням напивался Петр Антонович до крайности. Беспредельно напивался»* [Зощенко 2000, с. 472]. Окружающие находят способ сломать инерцию – Петра Антоновича «заражают» театром. Но и на этой территории Аполлон одерживает верх над Дионисом. Никакой стихийности: Петр Антонович

«*пить бросил по воскресеньям. По субботам стал пить. А баню перенес на четверг*» [Зоценко 2000, с. 473].

Советский мир – это видимость порядка при полном торжестве хаоса. Тотальная регламентация не вышла за рамки чисто литературного проекта. Хороший советский человек – это тот, кто, говоря словами Зоценко, «беспорядков не нарушает».

Литература

1. Булгаков М.А. Собрание сочинений: В 5-ти т. – М., 1989–1990.
2. Замятин Е.И. Избранные произведения. – М., 1989.
3. Зоценко М. Собрание сочинений: В 3-х т. – М., 1994.
4. Зоценко М. Сочинения. 1920-е годы. – СПб., 2000.
5. Кичанова–Лифшиц И. Отрывки из воспоминаний разных лет // Воспоминания о Михаиле Зоценко. – СПб., 1995.
6. Леонов Л.М. Собрание сочинений: В 10-ти т. – М., 1969–1972.
7. Маяковский В.В. Собрание сочинений: В 12-ти т. – М., 1978.
8. Олеша Ю. Повести и рассказы. – М., 1965.
9. Олеша Ю.К. Книга прощания. – М., 1999.
10. Пильняк Б. Сочинения: В 3-х т. – М., 1994.
11. Погодин Н.Ф. Собрание сочинений: В 4-х т. – М., 1972–1973.

КНИГА ЭККЛЕСИАСТ В РАССКАЗЕ А. ЭППЕЛЯ «ПОМАЗАННИК И ВЕРА»: ПРОЧТЕНИЕ ЧЕРЕЗ МЕТАФОРУ

М.А. Бологова

«Метафора, по определению, есть связь разнородного. <...> Два разорванных момента можно соединить в аналогии или метафорой. Внутри нее и будет содержаться наша принадлежность <...> к тому, что действительно происходит, и почему происходящее происходит. ...поскольку реальность вне наших связей, – метафора и есть реальность» [Мамардашвили 1995, с. 280, 284, 285].

Это соединение разорванных моментов воплощается у Эппеля очень часто с помощью метафоры-посредника, *метафоры полета* – мета-метафоры, необходимой для возникновения других метафор и для их интерпретации. Текст библейской книги соединяется с текстом бытия главных героев рассказа, и, чтобы увидеть это соединение и осмыслить его, необходимо использовать метафору полета, предлагаемую автором.

Полет – субстанция художественного мира Эппеля. Герой рассказа, *«старый человек – соседский дедушка»* [Эппель 2000] мечтает стать деревом, и в этом стремлении идея-фикс полета доходит до своего предела: *«...но окончательным деревом получиться не удавалось, потому что не садились птицы. Они всегда слетаются на ветки, свищущие птицы, а если не слетаются, значит то, что считается деревом, не дерево и вот-вот поползет. Это же совершенно ясно»* [Эппель 2000, с. 423]; *«...одно спасение – стать деревом, но только не укореняться, ибо с земли переползут все продолговатые жизни и улитка протащит по тебе свои слюни. А вот если не укореняться, если встать, не касаясь земли, только с лету можно будет удариться в тебя и поползти по тебе, но ты же отнекиваешься, отказываешь всем, качаешь кроною, и они, если не птицы, отлетают»* [Эппель 2000, с. 425]. Только птицы, безукоризненно летающие существа, могут определить сущность дерева, и сама эта сущность есть полет, поскольку «дерево» не касается земли, то есть летит само. Полетные компромиссы типа бабочек его не устраивают: они сначала были гусеницами. Вместо полета происходит повисание. Сначала повисают и падают капли из носа. Способ, придуманный им, тоже связан с повисанием, но уже его самого: *«Подвешенный за шею, шаркая ногами по воробьиным отметинам, качался старик. Всполошенные воробьи летали по веранде, и один даже метнулся посидеть на пальце стариковской руки, но, поняв ее содрогание, бросился улетать, причем неоднократно оглядывался. Когда медленный Верин вопль достиг нижнего жилья, оттуда выскочили медленные люди и на старике повисли. На самом деле они не повисли, а как бы еще больше стали превращать его в отъединенное от земли дерево»* [Эппель 2000, с. 432–433].

Вера находится в состоянии недозлета: *«Когда Верина семья уезжала в эвакуацию <...> отовсюду вышли тараканы и стояли, вздрагивая, на оклеенных полумертвой бумагой фанерных стенах»* [Эппель 2000, с. 421]; *«А Вера с тараканьего дня всегда глядела на все стенки»* [Эппель 2000, с. 432]. Красится Вера, смотря в покачивающееся на представляющей счетверенную львиную лапу ноге зеркало. При спуске со своего второго этажа она интенсивно ногой распахивает дверцу – она летает в петлях, *«комбинация с подолом креп-марокенового ее платья состязались то в высовывании друг из-под дружки, то в попеременном перекрывании»* [Эппель 2000, с. 431]. Мысли дедушки находят отражение в ее ассоциациях: он хочет замереть неподвижным деревом и не ползать, как насекомое, она при взгляде на насекомых вспоминает игру в казаки-разбойники, где убегающие застывают, раскинув руки, как дерево. Она видит невидимое другим: *«Вера увидела в воздухе брызнувшую после*

удара ножом по веревке – кровь. Впредь она станет разглядывать не только стены, но и воздух» [Эппель 2000, с. 433]. Кровь тоже получает права летучей субстанции из-за зависания в воздухе. Но сам дом летучим веществом и был переполнен. Его пространство составляют звуки музыкальных инструментов: «Снизу играли музыку, хотя, как всегда, тянули kota за хвост. Что это – музыка, было ясно, но зачем она – не поймешь. <...> ...нижние соседи дорожили такими нескончаемыми звуками, всегда почему-то настаивая на них вопреки тишине» [Эппель 2000, с. 425]. Для Веры эти звуки неотличимы от скрипа отворяемой-затворяемой двери. На веранде на ветру сушится белье, летают воробьи и ласточки, развешивает «страшные белые флаги» шелкопряд. Атмосфера быта в доме над бытом приподнята, потому что дом похож на церковь, и это постоянно присутствует в сознании всех. Кровля его тоже крылата и состоит наполовину из невесомой материи света: «Слишком из многих фрагментиков была устроена его крыша, и слишком прихотливо эти кровельки располагались <...> и сквозь низкую их прогнвиую жесть светил свет или неба, или поднебесья, или дворового воздуха, или сразу всего уличного захолустья» [Эппель 2000, с. 428].

Сюжетная связь между Верой и дедушкой очевидна: она сталкивает его из проема на веранду, открывая дверцу при спуске, а поняв, что случилось, бежит за ножом и перерезает веревку. Внесюжетная основана на «Книге Экклесиаст».

Женщины в этом доме намазывают.

У Веры нож, «им резали все и все намазывали, так что был он <...> перемазан недавней какой-нибудь подливкой» [Эппель 2000, с. 423].

Перед обрубанием веревки она, «не переставая визжать, воткнула его в серую буханку, словно бы готовя для высшего намерения трапезы. Бывший после недавней еды липким нож как мог очистился» [Эппель 2000, с. 432].

«Когда под хохот внучек и неодобрение домашних он сослепу совал пальцы вместо сахарницы в масленку, имевшую вид женской головы и называемую в семье “дурочка”, мучительное омерзение овладевало им, и он не знал, как снова стать сухим на ощупь» [Эппель 2000, с. 424].

«...содрать кожу, оскверненную мазью врача, которую насильно смазывает тебя жена твоя, дабы исцелить в тебе что-то. Глупости! Исцелять мазью!» [Эппель 2000, с. 432–433].

Внучки норовят поцеловать деда вымазанными желтками ртами, он проникает через кожу и склеивает щеки, «от этого стало трудно дышать» [Эппель 2000, с. 429].

«...жена нависала со страшной бритвой, перед этим изведя его мажущим помазком...» [Эппель 2000, с. 429].

Помазанник – тот, над кем совершен обряд помазания елеем, то есть пророк, первосвященник, царь, получающий свою власть таким образом от Бога. Помазанником в Новом Завете назван Иисус Христос. Помазание елеем (оливковым маслом, употребляемым в церкви) совершается также при соборовании тяжело больного или умирающего. Этот обряд в православии исцеляет человека от телесных и душевных болезней и одновременно освобождает от тех грехов, в которых он не успел раскаяться сам. Для католиков это успокоительное напутствие умирающему. «Дедушка» – помазанник в нескольких планах, но во всех случаях не в стопроцентном совпадении со значением этого слова, а со связью-отрывом от него, *полетом* около. Он мученически вынужден претерпевать различные *намазывания*, его помазуют поневоле: «*Он не выносил жира, смазывания, измазывания. <...> Он просто изводился, готовый обрубить коснувшиеся жирного и смазочного свои ветви...*» [Эппель 2000, с. 424]. После снятия с веревки, а через ряды ассоциаций – с креста («*он останавливается и расставляет руки, как крест или дерево*» [Эппель 2000, с. 422]; дедушка «*воздевал руки и топырил пальцы*» [Эппель 2000, с. 432]) его тело (он дышит и открывает глаза) «*лежало на ложе и продолжало собой подоконник*» [Эппель 2000, с. 433], а вокруг рыдают домочадцы. К нему зовут не священника, а доктора-мученика, его дочери выжгло глаз паровой искрой, – но все равно метафорически, с легким отрывом-удалением-полетом в значениях, это ситуация соборования.

Дедушка не царь и не первосвященник (иронически здесь обыгрывается фразеологизм «*лить елей*»), никто не относится к нему с уважением и почтением, с ним обращаются как с выжившим из ума, применяют разнообразное насилие к его телу. Однако дедушка обладает тем непонятным видением мира, которое заставляло библейских пророков бросать свою налаженную жизнь и уходить в пустыни и горы. Когда Вера думает о том, что соседи не будут собирать их замерзших тараканов, она оговаривается: «*Разве что ихний дедушка придет и сметет в совок сухих насекомых мертвецов*» [Эппель 2000, с. 422]. Он видит этические отношения в мире, невидимые другим: от нашествия непарного шелкопряда «*люди, потрясенные печальниками деревьев, замазывали белый цвет мольбы о пощаде коричневой липкой мазью, так что с исчезновением белого исчезала мольба, а раз исчезла мольба, ни при чем и пощада*» [Эппель 2000, с. 423]. Внучки его, например, шепчутся о порочном зачатии – «суета». Деревом он пытается стать по внутреннему велению, которое сильнее его рассудочных опасений смазывания мазью и жирных гусениц, то есть помазания. Он не проповедует и не спасает, наоборот, утаивает открывшееся ему знание: «*Но она и так не вползет, если вырасти, не касаясь земли. Хорошо, что никто, кроме него не*

догадывается об этом, а то сразу бы воспользовались...» [Эппель 2000, с. 431]. Но, тем не менее, мысли и деяния его идут в легких соприкосновениях-отрывах с ветхозаветной книгой, помещенной среди книг пророков. Касания эти похожи на касания крылом, а общий итог авторского текста похож на полет над исходным, с движениями навывлет и кружениями внутри. Летящий то снижается до буквального следования, то взмывает ввысь и отрывается совершенно, но не теряет основу из виду, чтобы можно было снова вернуться и приблизиться.

Екклесиаст, по легенде, – царь Соломон, однако эта книга считается одной из самых поздних книг, вошедших в канон Библии, автор ее занимал выдающееся общественное положение («проповедующий в собрании», «собирающий собрание»), но не был помазанником Божиим в привычном смысле этого слова, и боговдохновенность этой книги бывала под сомнением.

Екклесиаст – древний мудрец (Соломон обладал исключительной мудростью). Он прожил долгую жизнь и говорит о том, что он понял и разгадал в ней. «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки» [1, 2–4]¹. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это – томление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» [1, 17–18]. Дедушка – «патриарх», у него есть жена, «ловко растившая детей» [Эппель 2000, с. 426], дочь и ее муж, внуки: «Ты очень стар и прожил жизнь, и разгадал мир, полный ненужностей и докучливости. Ты хочешь приспособиться к нему, разоблаченному тобой, но всякий раз внезапно; ищешь от него защититься, а тебе в этом никто не помощник» [Эппель 2000, с. 427]. Ноты, извлекаемые внуками – «схожие несовершенством и донимающие тщанием» [Эппель 2000, с. 430]. В результате познания дедушка видит мир крайне замедлившимся в движениях, все «устало и мешкает». Он полон нежелания иметь дело с этим миром: «...а остальные жизни, в том числе люди, на твой ствол не натыкались, он встал и медленно ушел из вечного своего жилища, в трухлявом низу похожего на церковь дома» [Эппель 2000, с. 430]. Ср.: «И возненавидел я жизнь: потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все – суета и томление духа!» [2, 17]. Екклесиаст говорит с постоянной оглядкой на небо: «под солнцем», «под небом». Но по широте охвата это не взгляд с земли, а скорее объемлющий

¹ Далее Книга Екклесиаста цитируется по Библии: в скобках указываются номер главы и строки.

взгляд сверху. Он в свое время «предпринял большие дела <...>. Устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовые деревья <...> и домочадцы были у меня». Все герои «травяной улицы» когда-то совершили «большие дела», в результате которых на ней оказались и осели, жизнь окружающих деревьев весьма волнует помазанника, но он не заботится о них, как «печальники», а хочет стать неземным деревом сам, то есть, в сущности, войти в сад небесный, не «устроить себе», но устроить из себя, чтобы «сердце мое радовалось во всех трудах моих; и это было моею долею от всех трудов моих» [2, 10], но радость эта не была бы проходящей.

Композиция рассказа и построение его хронотопа (здесь читательский взгляд на целое после непосредственного прочтения, то есть *над*, движение с отрывом) напоминают о «всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать; время насаждать и время вырывать посаженное» [3, 1–2]. У помазанника в его последнем деянии эти два действия сливаются в одном с мифологической нерасчлененностью: «Время любить и время ненавидеть; время войне и время миру» [3, 8]. Эти времена чередуются в рассказе. Было время эвакуации, настало время возвращения и готовности к любви: «*сильно выросшая в эвакуации включая груди*» [Эппель 2000, с. 423]. Вера «*собиралась в школу рабочей молодежи и поэтому украшала молодое и пухлое лицо*» [Эппель 2000, с. 425]. У нее «время обнимать», у него «время уклоняться от объятий» [3, 5]; у нее – «разбрасывать камни, тараканы как *«лугвицы от материнного труакара»*» [Эппель 2000, с. 425], у него – собирать, сметет их всех в совок. У нее «время искать» связи, родство (она осталась без родителей), у него «время терять» (родные его тяготят). Внутреннее время Веры чередуется с временем, переживаемым помазанником до момента обрезания веревки. Она вспоминает, он думает, она ужинает, он ужинает, она собирается, он ужинает и наконец придумывает и идет к проему на веранду. Она спускается, он стоит и смотрит на воробьев, она распахивает дверь и сталкивает его, он висит «деревом», она бежит за ножом, все в сборе вокруг него, она перерезает веревку.

Принципиальное отличие времени помазанника от времени Веры: у него достаточно трудно понять, что происходит именно сейчас, а что происходит изо дня в день многие месяцы, время насыщено его внутренним переживанием и почти не движется, у нее – конкретные действия этого вечера, хотя и состоящие из привычных, сугубо внешних движений. У него – поток сознания, у нее – поступки. На самом деле два этих времени существуют параллельно и одновременно в объемлющем времени воспоминания повествователя, останавливающего мгновение,

переводящего его в застывшую вечность. Он смотрит извне на доктора Инберга, тоже движущегося извне в дом-храм, но внутри мира, на который уже снаружи смотрит повествователь (удаление точки зрения, отлетание): *«сочту я, что он <...> страшно неторопливо приближается к тамошним обстоятельствам, где на стенах сидят тараканы, красится цветными карандашами странная девушка Вера, не переводятся омерзительные гусеницы, а старый человек – соседский дедушка – все еще хочет стать, хочет старенький стать деревом»* [Эппель 2000, с. 433]. В этом финале рассказа оппозиция чередующихся времен не снимается, но выходит на новый уровень. Если раньше восприятие мира помазанником как замедленного казалось абсурдным, потому что точка зрения повествователя была другой, то теперь он сам как помазанник: *«мне, для которого время поспешает все быстрее, а всякое движение все больше утрачивает живость»* [Эппель 2000, с. 433]. И в этом акте слияния в восприятии времени понятно, что «дедушка» – действительно пророк-помазанник, разгадавший тайны. «Время раздирать, и время шивать; время молчать и время говорить» [3, 7]. Повествователь молчал о себе, сшивая ткань текста, он заговорил от себя и о себе в финале, когда пришло время разорвать эту ткань, отделить кусок от других, например, от истории дочери доктора Инберга, рассказ о которой войдет вообще в другой сборник – «Дробленный сатана» (2002).

«Потому что все дни его – скорби, и его труды – беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это – суета!» [2, 23]. Домочадцы помазанника и ночью заботой о нем не дают ему покоя, требуя выбросить ненужную фанерку. «Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна; как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом; потому что все – суета! Все идет в одно место; все произошло из праха, и все возвратится в прах» [3, 19–20]. Понимая это, помазанник уже готовится к вылету души, он все более готовит тело к участи праха, постепенно окуливается, входит в кокон, как не зря упоминаемый здесь шелкопряд, к гусеницам которого, как к родне по праху, он чувствует отвращение: *«...для заглянувшего ночью в окно вполне можешь сойти за продолжение подоконника в сером нутре уснувшего дома. Из одеяла, подвернув его края и низ, ты старательно устраиваешь особую оболочку, собираясь лежать в ней и медленно спать. А чтобы нижний загиб не отвернулся, ты придумал вполне очевидный выход: берешь крышку от небольшой посылки – старую фанерку <...> и кладешь ее прямо на простыню, но под подвернутое одеяло»* [Эппель 2000, с. 427]. На этой посылочной фанерке совершается внезапный головокружительный перелет между текстами – в соседнюю «Книгу Песни Песней Соломона», но через мир Розанова,

который на тему метаморфоз человека написал в сочинении о «времени умирать».

«Гусеница, куколка и мотылек имеют объяснение, но не физиологическое, а именно – космогоническое. Физиологически – они необъяснимы; они именно – неизъяснимы. Между тем космогонически они совершенно ясны: это есть все живое, решительно все живое, что приобщается жизни, гробу и воскресению. В фазах насекомого даны фазы мировой жизни. Гусеница: – “мы ползаем, жрем, тусклы и недвижимы”. – “Куколка” – это гроб и смерть, гроб и прозябание, гроб и обещание. – Мотылек – это “душа”, погруженная в мировой эфир, летающая, знающая только солнце, нектар, и – никак не питающаяся, кроме как из огромных цветочных чашечек. <...> ...бабочка вся только одухотворена, и, не вкушая вовсе (поразительно!! – не только хоботок ее вовсе не приспособлен для еды, но у нее нет и кишечника, по крайней мере – у некоторых!!), странным образом – она имеет отношение единственно к половым органам “чуждых себе существ”, приблизительно – именно Деревя жизни: растений, непонятных, загадочных. Это что-то, перед всякой бабочкою, – неизмеримое, огромное. Это – лес, сад. Что же это значит? Таинственным образом жизнь бабочки указывает или предвещает нам, что и души наши после гроба-куколки – будут получать от нектара двух или обоих божеств. Ибо сказано, что сотворена была Вселенная от Элогим (двойственное число Имени Божия, употребленное в рассказе Библии о сотворении мира), а не от Элоах (единственное число); что божеств – два, а не одно: “по образу и по подобию которых – мужем и женою сотворил Бог и человека”.

Мотылек – душа гусеницы. Solo – душа, без приходящего. Но это показывает, что “душа” – не нематерьяльна. Она – осязаема, видима, есть: но только – иначе, чем в земном существовании. Но что же это и как? Ах, наши сны и сновидения иногда реальнее бодрствования. Гусеница и бабочка показывают, что на земле мы – только “жрем”; а что “там” будет все – полет, движение, камедь, мирра и филлиам.

Загробная жизнь вся будет состоять из света и пахучести. Но именно – того, что осязимо, что физически – пахуче, что плотски, а не бесплотно – издает запах. <...>.

<...> Загадочно, что в Евангелии ни разу не названо ни одного запаха, ничего – пахучего, ароматного; как бы подчеркнуто расхождение с цветком Библии – “Песню песней”, эту песню, о которой один старец Востока выговорил, что “все стояние мира недостойно того дня, в который была создана “Песня песней”. <...>.

*И долго на свете томилась она
это – земная жизнь гусеницы, ползающая и жрующая...*

Желанием чудным полна

это – мотылек, бабочка, утопающая в эфире <...>.

<...> За муки, за грязь и сор и “земледелие” гусеницы, за гроб и подобие, – но только подобие смерти в куколке, – душа восстанет из гроба; и переживет, каждая душа переживет, и грешная и безгрешная, свою невыразимую “песню песней”. Будет дано каждому человеку по душе этого человека и по желанию этого человека. Аминь» [Розанов 1990, с. 408–410.].

Здесь присутствует та же мысль о полете как идеальном, предельном состоянии души. Розанов говорит о запахах. Описанием разнообразных запахов жизни, как правило, переполнены произведения А. Эппеля, но в этом рассказе их фактически нет, как гусеницы вместо бабочек, воздушное пространство этого рассказа наполняют звуки, не складывающиеся ни в какую мелодию, но должны быть «музыкой», то есть находящиеся в каком-то переходном состоянии – коконе между телом и душой. У Розанова также говорится о древе, и то, что помазанник хочет стать не просто душой, но огромным Древом жизни для душ, мгновенно увеличивает его фигуру и возносит над пародийным существованием рассказа. «Помазанник и Вера» – предпоследний рассказ книги, последний основан на интерпретации «Песни Песней», но идея двойного божества, соединяющего в паре мужское и женское начало присутствует здесь в самой заглавной паре персонажей; помазанник не бабочка, но древо, не *непарный шелкопряд*, но в паре с Верой, особая значимость семантики ее имени не требует пояснений.

Двойственности и противоречивости Экклесиаста, скорбящего о тщете, но и говорящего о наслаждении жизнью, опять же соответствуют помазанник и Вера в паре, наслаждение молодостью отдано «странной девушке». По верхам, мимолетно затрагивается 4-я глава «Экклесиаста». «Двоим лучше, нежели одному... Ибо, если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется» [4, 9–12]. Помазанник «падает», а Вера «поднимает» его. На своем ложе он согревается один, тщательно подворачивая одеяло. Главное событие сюжета – обрезание ножом веревки, сама бы эта скрученная «нитка» не порвалась. Здесь еще и символический подтекст – нить человеческой жизни. Из веревки в воздухе брызнула кровь, то есть Вера выполнила функцию Мойры, обрезала нить, спасши тело, которое потом еще может дышать. Нить жизни помазанника оказалась скрученной с нитями других жизней и не может оборваться его волей превращения в дерево (тоже

характерная античная метаморфоза: липа, лавр, кипарис и другие – превратившиеся люди – вылет и за пределы книги и вообще в другую мифологию, но с возвращением обратно).

Жизнь помазанника в доме-храме – послушание непонимающим его родным и вникание в видимые лишь ему одному вещи. «Наблюдай за ногою твою, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают» [4, 17]. «Подойти, чтобы слушать, лучше, чем жертвы приносить с глупцами» [Поэзия и проза Древнего Востока 1973, с. 643]. Почти без соприкосновений пролетает глава 6-я. «Все труды человека – для рта его, а душа его не насыщается» [5, 7]. В семье помазанника заботятся о насыщении души, играя каждый «свою музыку», но этого насыщения не происходит, зато рот получает свое – яичницу, американский лярд, хлеб и т.д.

Играет существенную роль в «Экклесиасте» ситуация предсмертного помазания елеем: «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселия» [7, 2–4], «Лучше доброе имя, чем добрый елей, и день смерти лучше дня рождения» [Поэзия и проза Древнего Востока 1973, с. 645]. Сердце повествователя в доме плача. Страдание, которое доставляют помазаннику женщины в доме, горче желанной ему смерти человеческого тела в соответствии с этой же 7-й главой. «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы; добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. <...> Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между ими не нашел» [7, 26, 28]. Женщины «ищут многих ухищрений» [Поэзия и проза Древнего Востока 1973, с. 647]. Вера «украшает» себя, жена, дочь, внучки не дают покоя и свободы от них своему дедушке, жена была «стремительно бывшая телом в его стремительное тело» [Эппель 2000, с. 426]. Хотя их деятельность идет в соответствии с заветами о веселии и наслаждении жизнью: «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей» [9, 8]. Чуждание помазанника насекомых тоже находит отражение. «Мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную мазь мироварника; то же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростию и честию» [10, 1]. «От подыхающих мух смердит и бродит елей умашенья, Немного глупости перевесит почет и мудрость» [Поэзия и проза Древнего Востока 1973, с. 649]. Помазанник выжил из ума с точки зрения родных, но «масть» (мазь) в любом виде ужасает его, он переходит в ту область, где людское мнение не имеет

значения. Эту главу автор пролетает насквозь, второе место соприкосновения в конце, именно это место маркировано крыльями. «От лениности обвиснет потолок; и когда опустятся руки, то протечет дом. <...> Птица небесная может перенести слово твое, и крылатая – пересказать речь твою» [10, 18–20]. Помазанник уверен, что без фанеры «дом бы ночью скомкался, как одеяло, кровля бы сползла, как одеяло с постели, и стало бы дуть... <...> А если спящие окажутся без сползшего с них дома? Что тогда? Дом скомкался и все лежат по-ночному <...> как белые метины подзаборной бабочки» [Эппель 2000, с. 428]. Люди, по его представлениям, даже еще не стали гусеницами из отложенных яиц. Они еще вне главных метаморфоз, в том состоянии, когда их можно просто уничтожить коричневой мазью и ничего не будет. Страх мази – страх смерти, не преобразующей, но останавливающей, уничтожающей без воскресения.

Повествователь оставляет в финале помазанника в виде тела на его «ложе» и плачущих вокруг него: «...и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет» [11, 3]; «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» [12: 7]. Книги завершаются вместе с человеческой жизнью, но изложенное в них не линейно-необратимо, полет осуществлялся кругами, с использованием фигур пилотажа; предполагается не столько читательское возвращение к началу и рефлексивное перечитывание рассказа (хотя в идеале это предполагает любое художественное произведение), сколько такой же «полет» над прочитанным, рефлексивное обращение к различным его деталям и частностям и открытие их связи с удаленными от них в зримом пространстве смыслами и текстами, полет в границах новых метафор и новых художественных миров.

Литература

1. Бологова М.А. «Aestas sacra»: реминисценции, мотивы, сюжет // Материалы к «Словарию сюжетов и мотивов русской литературы». – Новосибирск, 2004. – Вып. 6.
2. Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). – М., 1995.
3. Поэзия и проза Древнего Востока. – М., 1973.
4. Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени // Розанов В.В. Уединенное. – М., 1990.
5. Эппель А.И. Шампиньон моей жизни. – М., 2000.

ОТ ЕДИНИЦ ТЕКСТА К ЕДИНИЦАМ КОМПОЗИЦИИ

Н.В. Панченко

Теория текста за полувековое существование накопила свои «традиционно решаемые» вопросы: состав текстовых категорий, состав текстовых единиц, состав и количество текстовых уровней и др. Все эти перечисленные проблемы являются наследием лингвистики текста 60–80 годов прошлого века. Бурная дискуссия, развивавшаяся на страницах научных сочинений относительно основной текстовой единицы, касалась прежде всего вопросов ее наименования: сложное синтаксическое целое, сверхфразовое единство, абзац, коммуникативный блок, текстовый фрагмент, тематическое единство и пр. Постепенно в конкурентной борьбе победили две номинации: сложное синтаксическое целое и сверхфразовое единство. Однако ни сами эти единицы, ни спор относительно них не отражают сущности текста как особого феномена. То, от чего предостерегал Л.С. Выготский – разложение текста на элементы, которые не содержат в себе свойств целого, – как раз и произошло в лингвистике текста с ее стремлением поделить текст на сложные синтаксические целые, сверхфразовые единства и другие фрагменты, превышающие предложение. Несмотря на все старания лингвистики текста и ее ответвлений, избежать элементности анализа не удалось. Проблема, думается, заключается в том, что ни сложное синтаксическое целое, ни сверхфразовое единство, ни абзац, ни диктема (еще одна современная попытка решить названную проблему [Блох 2000]) не отражают природы текста. Во многом именно здесь кроется причина перманентного обращения теории текста к данному вопросу и возникновения все новых и новых версий о составе текстовых единиц [Дымарский 2001, Золотова, Онипенко, Сидорова 1998 и др.].

Представляется, что к решению вопроса о единицах текста необходимо подойти с другой стороны. Дело в том, что лингвистика текста традиционно пыталась, да и сейчас пытается [Милевская 2001, Сыров 2005], во-первых, рассматривать текст в контексте языковых единиц, приписывая ему статус наивысшей, во-вторых, под единицей текста понимать результат членения без остатка текста на линейно расположенные элементы.

Первая исходная посылка является прямым следствием введения текста в круг собственно лингвистических объектов и узаконивания его лингвистического статуса. В жестко заданной системно-структурной парадигме 60–70 годов XX века текст мог рассматриваться только в пределах дихотомии язык / речь как единица того или другого (кстати, споры о том, единицей чего – языка или речи – является текст, до сих пор не иссякли, хотя и утратили свою остроту). Однако все попытки описать текст как единицу наивысшего уровня языка не увенчались успехом, так как, во-первых, согласно уровневой модели языка единицами текста должны быть единицы нижележащих уровней, а во-вторых, неясен уровень языка, в который входит текст.

Что касается единиц, составляющих текст, то лингвистика текста практически игнорировала указанное положение, признавая, что ни слово, ни предложение не могут быть единицами текста, статус же единицы приписывался некоторому фрагменту, удовлетворяющему ряду требований: требованию единства темы, требованию грамматической оформленности и пр. Попытку обнаружить уровень языка, составной частью которого является текст, предпринял Л.Н. Мурзин [1994], усматривая таковым уровень культуры в той ее части, которая состоит из вербальных текстов.

Указанные противоречия свидетельствуют о непродуктивности определения текста в системе язык / речь.

Попытку разрешения этого противоречия предпринимает С.Г. Ильенко и ее ученики путем расширения бинарной оппозиции язык – речь до трехчленной: язык – речь – текст [Дымарский 2001, Ильенко 1990, Максимова 2005]. Некоторая неопределенность такого рода противопоставления обусловлена расплывчатостью толкования прежде всего срединного члена – речи. Рассуждения на эту тему не слишком убеждают, поскольку практически не ясно, как в указанной системе различаются текст и речь.

Представляется, что нужно уйти от прямолинейного решения этого вопроса и обратиться к иным моделям коммуникативного речевого взаимодействия, где текст, действительно, «главный герой», а не противопоставлен традиционным объектам структурной лингвистики. Текст является единицей коммуникации, где только и проявляются основные текстовые свойства и признаки. Без учета коммуникативной среды бессмысленно не только рассуждать о текстовых категориях, сущности текста, но и ставить вопрос о единице текста.

Возможный вариант решения проблемы о принципах выделения единицы текста содержится в традиции рассмотрения вопроса о единице языка художественной литературы (В.В. Виноградов, Г.О. Винокур,

Ю.М. Лотман). Именно в рамках науки о теории художественной речи была предложена идея единицы, которая обладает несомненным текстообразующим потенциалом. В.В. Виноградов назвал в качестве такой единицы символ, особенность единицы поэтического языкознания Г.О. Винокур усматривал во внутренней форме, а Ю.М. Лотман основу художественного текста видел в метафоре. Объединяющим началом всех этих единиц является совмещение в одном текстовом фрагменте (при этом величина фрагмента не имеет значения) двух противоположных тенденций. Именно нахождение на границе, принадлежность сразу двум (или более) пространствам сообщает данному текстовому элементу текстообразующий потенциал и трансформационную силу.

В.В. Виноградов в статье «О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски)» [1976] разрабатывает понятие единицы языка художественной литературы – символа, основой которого служит столкновение языковых элементов различной стилистической принадлежности, что создает требующее разрешения противоречие, останавливающее мерное, линейное развертывание текста. Символ, по В.В. Виноградову, обязательно имеет более одного пути развертывания. Пути эти возникают в результате столкновения языковых единиц, своеобразного синтаксического оксюморона (на уровне структуры или смысла). Выделенные В.В. Виноградовым типы таких символических единиц в поэзии А. Ахматовой имеют одну особенность – способность к трансформации смысла предыдущих и последующих элементов текста. При этом наибольшей трансформационной силой обладают символы, расположенные в конце текста. Именно их влияние распространяется на текст ретроспективно (в лингвистике текста это явление частично было описано как ретроспективная связность [Гальперин 1981]).

Г.О. Винокур двойственность единицы художественного текста видел во внутренней форме, сущность которой определяется тем, что в поэтическом языке «одно содержание, выражающееся в звуковой форме, служит формой другого содержания, не имеющего особого языкового выражения» [Винокур 1990, с. 28]. Единица поэтического языка обладает рядом признаков (мотивированность, идиоматичность, рефлексивность), в которых и проявляется ее постоянное пограничное состояние.

В тексте, особенно художественном, слова выступают вместе с общеязыковым значением и как «местоимения – знаки для обозначения еще не выясненного содержания» [Лотман 2000, с. 201]. Это «невыясненное содержание» конструируется только в пространстве текста, за счет связей одного элемента с другим, с одной стороны, и сохранения потенциальных связей этого элемента с остальными, с другой

стороны. Элементы текста, объединяясь в его структуре, являются одновременно эквивалентными и различными, принадлежат парадигматической и синтагматической оси текста, в чем и проявляется «двойственность», которую нельзя устранить, поскольку она является необходимым условием существования текста. В этом проявляется принцип метафоры: соединение разнородных элементов и образование посредством этого рядов эквивалентностей.

Таким образом, проблема текстовых единиц теснейшим образом связана с вопросом композиционного описания текста, несмотря на давнюю историю которой, до сих пор не выработавшую ни единства подходов и описаний, ни, как следствие, единиц композиционного построения текста. Да и само понятие композиции чаще всего отождествляется с жесткой схемой, фиксирующей и останавливающей текст в процессе его коммуникативного осуществления. Коммуникативной динамической природе текста может соответствовать только в свою очередь коммуникативное и динамическое представление о композиции как постоянно совершающегося построения текстовых элементов в процессе взаимодействия автор – текст – читатель.

Проблема единиц коммуникативных динамических феноменов текста и его композиции ощущается тем более остро, что традиционные категории и способы очевидно не подходят для описания композиционного построения современных текстов. Причина этого не только в том, что современная литература дает нам бесчисленные образцы, не укладывающиеся в жестко схематизированные представления (см., например, зафиксированную М.Я. Дымарским неприложимость к модернистскому и постмодернистскому тексту традиционного описания сверхфразового уровня организации текста [Дымарский 2001, с. 257–305]). И даже не в том, что изменяется сам механизм композиционной организации современного текста. Неоднозначную референтную отнесенность отмечали исследователи и по отношению к классическому повествованию: В. Шмид указывает на соприсутствие в тексте «Пиковой дамы» А.С. Пушкина двух конкурирующих референтов – любовной истории и азартной игры. При этом ни один из референтов «со свойственным ему смыслом не выбывает из игры», и одновременно ни один «сам по себе не способен охватить в полной мере историю Германна» [Шмид 1998, с. 115–116]. Причина, думается, кроется в самом исследовательском подходе, стремящемся к универсальному объяснению, предполагающему принципиальную сводимость множества референтов к одному главному, служащему объединяющим началом. Однако появление новых форм, способов организации текста лишает эти модели объяснительной силы. Одновременно универсализация ведет к крайней

схематизации, упрощению описания композиционного построения текста (см., например, максимально обобщенное понимание композиции как присутствия в тексте трех частей – введения, основной части и заключения), что приводит к закрытию данной проблемы и лишению подобного рода моделей эвристического потенциала.

Вопрос о том, какие элементы в тексте имеют композиционную значимость, все или не все компоненты текста приобретают статус текстообразующих единиц, был поставлен в трудах формальной школы. Так, анализируя композицию «Шинели» Гоголя, Б. Эйхенбаум не просто выделяет приемы, описывает их сцепления и взаимодействия, но и обращает внимание на то, что отдельный прием, например контраст, может придать всей композиции иной характер [Эйхенбаум 1986]. Это очень важное замечание, на наш взгляд, не было оценено в дальнейшем. Суть его в том, что не все приемы равнозначны, как неравнозначны и все элементы текста – именно то, что игнорировала в своих теоретических построениях лингвистика текста. Б. Эйхенбаум подметил способность отдельных приемов, элементов композиционного построения изменять не только весь последующий ход, но и влиять на предыдущее построение текста, перестраивая заново всю композиционную организацию текста. Единицами текста являются те, которые имеют способность к трансформации текстового материала, располагающегося справа и слева от них.

Следовательно, каждый языковой элемент не может иметь композиционную значимость: «Композиционно значимы лишь те элементы, которые являются трансляторами тематической структуры, и правила соответствия между абстрактной композиционной схемой и конкретной семантической композицией текста действительны только для них» [Золян 1986, с. 70]. Несмотря на некоторую категоричность данного утверждения, тем не менее в этом подходе отражен различный статус единиц композиции текста. Однако вопрос о том, что происходит с элементами текста в процессе композиционного построения, каким законам они подчиняются, что определяет выделенность / фоновость элемента текста в композиционном построении, остается пока открытым. (Исследователи в большинстве случаев руководствуются собственной интуицией либо рассматривают как выделенные риторические фигуры и тропы в составе текста.) Традиционное решение проблемы композиции, в том числе и структуралистское, не дает ответа на данный вопрос.

У. Чейф отмечал, что информация может находиться в двух состояниях: актуальном (сознание) и потенциальном, то есть в накоплении (память): «... “содержимое сознания” является знанием, которое активизируется, или “высвечивается”, в любой данный момент времени, а

содержимое памяти не активно, не “высвечено” в данный момент, но все же некоторым образом “присутствует” в уме» [2001, с. 5–6]. Таким образом, под воздействием определенных факторов эта информация может быть в нужный момент извлечена и отредактирована. Текстовый элемент приводится в актуальное состояние, остальные же прибывают с состоянии покоя. Отдельный актуализированный элемент это и есть единица текста (актуализатор). Актуализатор способен организовать один композиционный вариант, но при этом в тексте наличествуют и другие варианты, которые могут быть активизированы в другой момент времени.

Фактор выделенности предопределяет статус актуализатора композиционного построения. Эту выделенность обеспечивает нахождение данной текстовой единицы на границе текстового пространства. Актуализаторы композиционного построения характеризуются расположением на границе и неоднозначностью интерпретации по отношению к составляющим коммуникативного акта. Например, неоднозначность референтной отнесенности, неоднозначность адресантной составляющей (явление несобственно-прямой речи), неоднозначность контакта, неоднозначность принадлежности и данному тексту, и среде (коммуникативной и культурной) и т.д. Нахождение на границе пространств сообщает актуализатору свойство перекодирующего устройства. Элементы одного пространства перекодируются в элементы другого пространства. Перекодировка, представляющая в тексте как трансформация текстового материала под влиянием актуализатора композиционного построения, осуществляется за счет эквивалентности, которая является одним из основных организующих принципов художественного текста, по мнению Ю.М. Лотмана [2000, с. 56]. Эквивалентными становятся, помимо элементов, обладающих лингвистической семантической эквивалентностью, элементы текста, не являющиеся таковыми в языке. Все вместе они образуют различные цепочки-структуры эквивалентностей в пределах разных композиционных вариантов.

Эквивалентность единиц текста не является однозначной и жестко заданной. Каждый актуализатор способен к созданию собственного ряда эквивалентностей. Эти ряды могут вступать в различные отношения друг с другом (отношения включения, пересечения, отождествления, непересечения). В некотором смысле они тоже образуют цепочку-структуру эквивалентностей, но это эквивалентность не единиц, образующих композиционный вариант, а эквивалентность второго порядка – эквивалентность композиционных вариантов. Однако и здесь отношения между ними не являются однозначными, а скорее представляют собой отношения соответствия – несоответствия, что

согласуется с идеей Ю.М. Лотмана о взаимной переводимости – непереводимости языков, на которых создается текст [Лотман 1996].

Единица текста с необходимостью реализует основные свойства целого. Актуализатор как единица вполне отвечает этим требованиям. Согласно Ю.М. Лотману, в тексте, в частности в художественном, «одновременно работают два противоположных механизма: один стремится все элементы текста подчинить системе, превратить их в автоматизированную грамматику, без которой невозможен акт коммуникации, а другой – разрушить эту автоматизацию и сделать самое структуру носителем информации» [2000, с. 82]. Актуализатор как единица текста воплощает в себе это существенное свойство текста: он деавтоматизирует восприятие, создает то, что нарушает мерность, линейность развертывания словесных рядов в пределах композиционного единства (об этом же писали формалисты – В.Б. Шкловский, Ю.Н. Тынянов, Б. Эйхенбаум и В.В. Виноградов, который определял сущность символа – единицы языка художественной литературы – как перебив структуры, вывод из автоматизма восприятия). Одновременно актуализатор запускает механизм построения композиционного варианта, в определенном смысле автоматизируя дальнейшее восприятие текста, задавая вектор его развертывания, управляющий текстовой организацией.

Если обратиться к традиционным строевым единицам текста, выделяемым лингвистикой текста, то нужно констатировать, что ни одна из них не обладает базовым сущностным свойством и, следовательно, не может претендовать на статус текстовой единицы, а является лишь текстовым материалом. Трансформируемость же текстового материала под влиянием актуализатора композиционного построения базируется на одном из глубинных свойств текста, отмеченных Ю.М. Лотманом, – «способность элемента текста входить в несколько контекстных структур и получать соответственно различное значение» [2000, с. 70].

Общее при композиционном построении – сами модели построения (код), пространство текста, сигналы композиционного построения. Однако в силу вариативности композиции результат деятельности построения варианта текста не будет обязательно совпадать, поскольку существует вариативная, несовпадающая зона. Очевидно, чем больше сигналов композиционного построения, тем вариативнее результат. Однородность таких сигналов уменьшает количество возможных вариантов.

Рассмотрим на примере формирование единицы композиционного построения – актуализатора – на материале рассказа Т. Толстой «Поэт и муза».

Актуализатором варианта композиционного построения текста является высказывание: *«После работы она заходила за ним в его*

кабинет – никакой романтики: уборщица вытряхивает урны, шваркает мокрой шваброй по линолеуму, а Аркадий Борисыч долго моет руки, трет щеточкой, подозрительно осматривает свои розовые ногти и с отвращением смотрит на себя в зеркало». Данное высказывание находится на границе пространств двух референтов и может иметь два прочтения. Нина заходит после работы за Аркадием Борисычем, у которого в кабинете уборщица моет полы, и они дожидаются, когда уборка будет закончена. Но высказывание не дает оснований для такой однозначной интерпретации: она, то есть уборщица, вытряхивает урны и моет полы. Структура бессоюзного предложения и дейктичность местоимения (Нина = она = уборщица) задают двойную интерпретацию. Причем вторая интерпретация имеет и объяснительную силу: становится понятно увлечение Нины мытьем и натиранием полов в собственной квартире, а также объясняется невнимание и брезгливость Аркадия Борисыча (*«Аркадий Борисыч долго моет руки, трет щеточкой, подозрительно осматривает свои розовые ногти и с отвращением смотрит на себя в зеркало. Стоит, розовый, сытый, тугой, яйцевидный, Нину не замечает, а она уже в пальто на пороге. Потом высунет треугольный язык и вертит его так и сяк – боится заразы»*). Объясняющий вектор двунаправлен: ретроспективно трансформирует весь предыдущий контекст, проспективно управляет последующим контекстом. Таким образом, происходит переключение из одного референтного пространства (Нина – врач) в иное референтное пространство (Нина – уборщица). При этом данное переключение осуществляется не окончательно. Предыдущий референт всегда проглядывает через новый (это явление М.Я. Дымарский назвал «двоичностью») [2001]).

Процесс управления последующим контекстом и его композиционной организацией поддерживается актуализаторами второго порядка, содержащими актантные семы: грязь (*«осмотрела комнату – большая зала, пивные бутылки под столом, пыльная лепнина на потолке, синеватый свет сугробов из окошек, праздный камин, забитый хламом и ветошью»*; *«боже мой, что за берлога, что за комната, желтая, жуткая, заросшая грязью, слепая, без окон!»*; *«а толпа все прибывала, жужжала и неслась, как мусор из пылесоса, пущенного в обратную сторону, и распозались какие-то бородачи, и стены флигеля раздвигались под людским напором, и были крики, плач и кликушество. Били посуду»*), чистота как результат (*«что все будет хорошо, сытно, тепло и чисто»*; *«А к утру вся нечисть сгинула»*; *«Аркадий Борисыч вежливо подает руку, обернутую и стерильную бумажку»*; последний абзац текста), синонимичные действия – очистить, уничтожить

(«О, вырвать Гришу из тлетворной среды, обчистить с него прилипших, как ракушки к днищу корабля, посторонних женщин, вытащить из бурного моря, перевернуть, просмолить, проконопатить, водрузить на подпорки в тихое, спокойное место!»; «Уничтожить Лизавету было так же трудно, как перерезать яблочного червя-проводочника»; «Нина посылала отряды туда» и др.).

Отождествление Нины и уборщицы иначе прочитывает первую лейтмотивную фразу текста: «Нина была прекрасная, обычная женщина, врач и, безусловно, заслужила, как и все, свое право на личное счастье»; далее: «так что Нина была, как уже сказано, в этом смысле самая обычная женщина, прекрасная женщина, врач»; в конце текста: «И подумайте, какие чувства должна была пережить она, прекрасная, обычная женщина, врач, безусловно заслужившая, как и все, свой ломтик в жизни, – женщина, борющаяся, как нас всех учили, за личное счастье, обретшая, можно сказать, свое право в борьбе?». Эта трижды повторенная фраза становится понятна в контексте «истинной профессии» Нины: она моет и убирает. Это когда-то она была врачом, а сейчас она уборщица. Вот почему к ней презрительно относится Аркадий Борисыч, моет руки, боится заразиться. Вот почему ее раздражает грязь в доме у Гришуни, его гости, после которых остается грязная посуда, поэтому она грозно смотрит, чтобы вытирали ноги. В этом контексте прочитывается и последний абзац текста: освободиться от лишнего, от грязи, сделать комнату просторной и чистой – это идеал, к которому стремится обычная женщина, это приносит покой. Именно в рамках данного композиционного варианта Нина-уборщица – достойная пара Гришане-дворнику.

Актуализатор приводит в действие механизм композиционного построения текста, что делает эквивалентными все элементы текста по некоторому признаку *x* (признак, являющийся основным в актуализаторе). В приведенном варианте это признак «грязь». Другие элементы текста подвергаются трансформации под действием эквивалентного признака, что уравнивает в этом отношении весь текст. Таким образом текст складывается в историю. Композиционный вариант «Нина – уборщица», реализующийся по всему тексту пунктирно, прочитывает историю как отношения уборщицы и дворника, как очищение от грязи. Этот вариант не является абсолютным, но потенциально возможным. С данной точки зрения вполне реализуется интерпретация всего текста.

Не все элементы текста поддаются давлению заданной эквивалентности и могут оказывать сопротивление. Эти элементы актуализируют другие композиционные варианты, которые находятся в определенных отношениях друг с другом либо существуют параллельно,

не вступая ни в какие отношения эквивалентности (сходства или противопоставления) или смежности (пространственной, временной, причинно-следственной).

Например, высказывание: *«Побывала она замужем – все равно что отсидела долгий, скучный срок в кресле междугородного поезда и вышла усталая, разбитая, одолеваемая зевотой в беззвездную ночь чужого города, где ни одной близкой души»*, – актуализирует другой композиционный вариант – Нина является представителем государственной власти, совмещает в себе карательные, надзирательные и фискальные органы, Гриша – государственная собственность. В связи с этим становится понятным его переход после смерти в «общественное достояние», «академический инвентарь» с инвентарным номером. Данный композиционный вариант поддерживается высказываниями, одновременно принадлежащими пространству административно-надзирательному и бытовому, что проявляется в использовании административных, тюремных и пр. штампов вместе с лексикой, принадлежащей бытовому пласту (*«у нас в стране примерно сто двадцать пять миллионов мужчин, а ей судьба отслучила от своих щедрот всего лишь Аркадия Борисыча»*; *«одна демобилизованная балерина»*; *«вырвать Гришу из тлетворной среды»*; *«Раз в неделю она проверяла его письменный стол и выбрасывала те стихи, которые женатому человеку сочинять неприлично. И порой ночью они поднимала его на допрос: пишет ли он для товарища Макушкина или отлынивает? И он закрывался руками, не в силах вынести яркого света ее беспощадной правды»*; *«она обнимает государственную собственность и несет материальную ответственность перед лицом закона на сумму шестьдесят рублей двадцать пять копеек»* и др.).

Данный композиционный вариант является частично эквивалентным предыдущему по признаку «уборщик», «порядок», но не тождествен ему по другим признакам. Эти варианты вступают друг с другом в отношения взаимного пересечения / непересечения.

Еще один вариант композиционного построения (Нина – врач, Гриша – пациент, затем покойник) актуализируется в первом предложении текста и во многом выступает в качестве основы, фона, на котором разворачиваются все остальные композиционные варианты. Другой композиционный вариант (Гриша – поэт, Нина – муза) задается столкновением названия рассказа и первого предложения (*«Нина была прекрасная, обычная женщина, врач и, безусловно, заслужила, как и все, свое право на личное счастье»*). Можно обнаружить в рамках референциального подхода к композиционному построению данного

рассказа и интертекстуальный композиционный вариант, историю любви и др.

Варианты композиционного построения текста не исчерпываются приведенным перечнем. Однако уже на этом ограниченном материале выявляется определенная закономерность композиционного построения. Актуализатор приводит в действие механизм композиционного построения текста, что делает эквивалентными все элементы текста по некоторому признаку (признаку, являющемуся основным в актуализаторе). Другие элементы текста подвергаются трансформации под действием эквивалентного признака, что уравнивает в этом отношении весь текст. Каждый из вариантов не является абсолютным, но потенциально возможным.

Описывая эквивалентности в рассказах Чехова, Шмид приходит к выводу: «... сеть эквивалентностей так густа и сложна, что в одном восприятии, всегда организуемом определенной точкой зрения, она не может проявиться исчерпывающим образом. Читатель будет избирать из предложенных эквивалентностей и их соотношений лишь те, которые предусматриваются ожидаемым им смыслом. <...> Каждое восприятие необходимо редуцирует сложность произведения, поскольку отбираются только те отношения, которые, в зависимости от смыслового ожидания, идентифицируются как значимые. Читая и осмысливая текст, мы пролагаем смысловую линию через тематические и формальные эквивалентности и проявляющиеся в них признаки, не учитывая, в силу неизбежности, множество других эквивалентностей и признаков» [Шмид 1998, с. 242].

Выбор актуализатора, приводящего в движение механизм композиционного построения текста, обусловлен активностью и волюнтаризмом читателя, а потому является случайным, произвольным и субъективным. Постмодернистский текст отрицает саму возможность создания единственной истории, то есть отрицается референтная целостность текста, что порождает определенную «растерянность» читателя перед множеством наглядно представленных и наблюдаемых референтов, к которым относит текст, тогда как в классическом тексте эта множественность референта, как правило, оказывается скрытой, чем и создается миф о единстве текста.

Таким образом, современная текстовая реальность требует иного, чем предлагает традиция, подхода к композиции текста. Этот подход должен отражать гибкость и пластичность текстообразования, что позволит распространить его на объяснение композиционной организации текстов как классического, так и неклассического типа.

Литература

1. Блох М.Я. Диктема в уровневой структуре языка // Вопросы языкознания. – 2000. – № 4.
2. Виноградов В.В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. – М., 1976.
3. Винокур Г.О. О языке художественной литературы. – М., 1991.
4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981.
5. Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX – XX вв.). – М., 2001.
6. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. – М., 1998.
7. Золян С.Т. О принципах композиционной организации поэтического текста // Проблемы структурной лингвистики. 1983. – М., 1986.
8. Ильенко С.Г. Текстовый аспект в изучении синтаксических единиц // Текстовый аспект в изучении синтаксических единиц. – Л., 1990.
9. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – Текст – Семиосфера – История – М., 1996.
10. Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб., 2000.
11. Максимова Н.В. «Чужая речь» как коммуникативная стратегия. – М., 2005.
12. Милевская Т.В. Связность как категория дискурса и текста. – Ростов-на-Дону, 2003.
13. Мурзин Л.Н. Язык, текст и культура // Человек – текст – культура. – Екатеринбург, 1994.
14. Сыров И.А. Способы реализации категории связности в художественном тексте. – М., 2005.
15. Чейф У. Память и вербализация прошлого опыта // Текст: аспекты изучения семантики, прагматики и поэтики. – М., 2001.
16. Шмид В. Проза как поэзия: Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард. – СПб., 1998.
17. Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии. – Л., 1986.

МЕТАЯЗЫКОВОЕ И СОБСТВЕННАЯЯЗЫКОВОЕ В ЮРИДИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ

К.И. Бринев

Центральная проблема, поднимаемая в последних публикациях по юридической лингвистике, – это проблема статуса естественного языка в современном правовом пространстве. Основная концептуальная тенденция, развивающаяся в работах, выполненных в русле названного направления, заключается в признании структурообразующей роли языка по отношению к правовой материи, в связи с этим разрабатываются концепции «правовой коммуникации» [Голев 2006] и права как вида

герменевтической деятельности [Овчинников 2004]. В гносеологическом аспекте данные концепции являются результатом методологической коммуникации между двумя отраслями знания – лингвистикой и юриспруденцией, при этом лингвистика выступает в качестве адресанта, а юриспруденция – адресата. В настоящее время актуальна гипотеза о том, что право относится к типу систем, устроенных по тем же принципам, что и естественный язык. С этой точки зрения в сферу лингвистики вовлекается новый эмпирический объект исследования (при этом право – это один из вариантов естественного языка), а перед юриспруденцией открывается возможность в изучении нового аспекта (стороны) предмета своего исследования.

Настоящая статья посвящена обсуждению первой линии развития обозначенной проблематики. Эмпирические факты позволяют утверждать, что право, являясь одним из вариантов естественно-семиотических систем, обнаруживает в себе черты, присущие этим системам: в нем (как в семиотическом образовании) неизбежно присутствуют антиномии формы и содержания, синхронно-функционального и генетического, метаязыкового и собственно языкового. Дать полное антиномическое описание права как лингво-семиотического феномена в настоящее время не представляется возможным, думается, что такое описание – перспектива лингвистики и юрлингвистики. В настоящей статье мы остановимся на одной из антиномий, определяющей устройство и функционирование юридического языка (шире – современного права), – антиномии метаязыкового и собственно языкового уровней в юридическом языке.

Как известно, данная антиномия вырастает из оппозиции, основными противочленами которой являются «знания о языке» и «знание языка». Второй член оппозиции определяется практическим владением языком, фактическим использованием его в коммуникативных целях, тогда как первый член оппозиции содержательно базируется на теоретических (от научной до «наивной» теории языка) представлениях о языке, сложившихся в той или иной отрасли знания. Скажем, метаязыковые представления о русском роде качественно отличаются от его коммуникативного (собственно языкового) содержания, с точки зрения первого аспекта род стремится слиться с полом, тогда как в коммуникативном плане остается согласовательной синтаксически сильной и номинативно слабой грамматической категорией [Голев 1998].

Относительно юридического языка принцип асимметрии метаязыкового и языкового не утрачивает своего значения. Метаязыковое сознание в этом плане имеет свою идеологию. Основные постулаты

«лингвоюридического» метаязыкового сознания можно сформулировать в следующих тезисах:

1. юридический язык – это рукотворный феномен;
2. юридический язык – это искусственное образование;
3. юридический язык – это язык, в котором должно быть гармоничное соответствие между формой и содержанием.

Первый из названных тезисов является вариацией на тему рукотворности русского языка и представляет собой продолжение метаязыковых представлений рядовых носителей языка, которые сформированы орфографическим типом языкового сознания. Орфографоцентризм обыденного языкового сознания достаточно детально описан Н.Д. Голевым [Голев 1997]. Следствием данного свойства языкового сознания является представление о языке как о рукотворном феномене, который подчиняется воле абстрактного кодификатора, а в итоге – воле говорящего. В этом плане метасемиотика, отражающая юридический язык, продолжает естественно языковую метасемиотику.

Носителем таких представлений является как юридическое, так и лингвистическое метасознание. Юридическое метаязыковое сознание, являясь органичным продолжением обыденного метаязыкового сознания, неизбежно «впитывает» в себя языковую идеологию последнего: научные тексты по юридической технике дают основание утверждать, что юридический язык в сознании юриста – объект рационально-кодификаторской деятельности, это то, что можно подправить, усовершенствовать¹. Нужно отметить, что юридическая техника – это совокупность правил, основная функция которых – состоит в обеспечении эффективности законодательства, поэтому в юридических исследованиях доминирует предписательная модальность, перечисляются параметры, которые определяют, **каким должен быть** юридический язык: «Принцип определенности, точности, однозначности правовой нормы является гарантией прочного правопорядка – ведь если каждому члену общества ясно его права и обязанности, он имеет известную свободу действий и решений в рамках правового пространства» [Губаева, Шакирова 2001], см. также [Пиголкин 1990]. Однако относительно фактической реализации этих требований отмечается неудовлетворительное состояние лингво-правовой сферы в технико-юридическом аспекте. Ср.: «Прежде всего, ему (юридическому языку – К.Б) свойственны **точность, ясность,**

¹ Примечателен тот факт, что юридический язык – это нечто **постоянно нуждающееся** в доработке, судя по всему, юристы не обращают на этот факт особого внимания. Свойство постоянства наводит на мысль о сущностной природе описываемых явлений, а не об их фоновой, помехообразующей природе.

использование слов и терминов в строго определенном смысле. Тем самым правовой язык резко отличается, например, от языка художественных литературных произведений, где «размытость» слов и определений – одно из допустимых средств художественной выразительности.

Юридическому языку свойственны **простота** и **надежность грамматических конструкций**, исключающие двусмысленность. Это свойство связано с тем, что правовая норма по своей природе – команда. Совершенно очевидно, что команда, если она выражена неточным и двусмысленным языком, не будет понята и выполнена так, как этого хочет законодатель» [Исаков 2000, с. 65].

«К сожалению, можно указать немало примеров того, когда законодатель вольно или невольно нарушает правила юридической техники, нормы и требования правового языка»¹ [Исаков 2000, с. 66].

«Приведенные примеры говорят о том, что законодатель нередко сам отступает от норм и требований юридического языка, которые считает обязательными. Почему это происходит?

Главная причина "размывания" юридического языка – пока еще низкий уровень культуры самих законодателей, непонимание ими ценности юридического языка, неумение использовать все его "регистры"» [Исаков 2000, с. 70].

Лингвисты, по нашему мнению, также склонны видеть прежде всего рационально-логический, а не стихийно-языковой полюс детерминации в устройстве и функционировании юридического языка, что также поддерживает представление о юридическом языке, как рукотворном. Думается, что ведущие детерминанты, обуславливающие такие представления, здесь несколько другие: лингвисты, видимо, склонны вводить юридический язык в разряд искусственных языков, специально созданных для обслуживания отдельной специфичной области социального взаимодействия. Поэтому в лингвистике также остается «востребованной» мысль о точности выражения воли законодателя, необходимым атрибутом которой (точности) является непременное соответствие формы содержанию, генетического и синхронно-функционального, стихийного и рационального и др. При этом оказывается явно недооцененным факт, что состоянием равновесия, частным проявлением которого является симметрия, означает окончание

¹ Далее автор перечисляет конкретные примеры, которые иллюстрируют нарушения норм юридического языка. К таковым относятся придание одному понятию различных смыслов, определение одних и тех же понятий различными способами, технические ошибки (ошибки и опечатки).

развития любой системы, а по существу, ее вырождение. В юридическом языке, так же как и в естественном, отношения между названными планами асимметричны, и отсутствие асимметрии между языковым и метаязыковым подтверждает выдвинутую гипотезу.

Проиллюстрируем тезис о «фруктовности» юридического языка в сознании профессионального лингвиста:

«Несмотря на существование всех вышеизложенных требований, в текстах нормативно-правовых документов встречается множество законотворческих ошибок... Во избежание таких ошибок одним из важнейших компонентов методологии законотворчества должны выступать нормы и требования современного русского языка, его разделов, например, лексикологии, грамматики¹» [Маланина 2006, с. 20]. Обращает на себя внимание прежде всего соотношение модальностей долженствования и существования в приведенном тексте: текст **должен** быть исправлен, несмотря на то, что при **существовании** приведенных правил, регламентирующих составление текста нормативно-правового акта, ошибки все-таки **существуют**. Несомненно знаковым здесь является употребление и слова «ошибка», которое маркирует «орфографический» подход к проблеме: именно в орфографии принято говорить об ошибках, а не о вариантах нормы [Голев 1997].

Метаязыковая идеология проникает и в лингвистическую экспертизу. Так возник спор по договору страхования между физическим лицом и страховой компанией. В данном договоре был неоднозначно определен статус бортпроводника. От такого статуса зависела выплата страховки: если бортпроводник является членом экипажа, то страховка должна быть выплачена, если нет, то страхового случая не возникает. Перед лингвистом был поставлен следующий вопрос²: «*Имел ли **возможность** Страховщик и **должен** ли был более определенно при составлении данных документов обозначить бортпроводника как субъекта Договора страхования?*»

¹ Предлогу «несмотря на» в тексте работы предшествует изложение элементов законодательной техники, к которым относятся: а) познавательный элемент, заключающийся в выработке концепции закона и подборе понятийного аппарата, адекватно отражающего эту концепцию; б) нормативный элемент, связанный с четкой структуризацией текста закона (выработкой четкой композиции, его составных частей и т.п.); в) логический элемент; г) элемент внешнего документального оформления (юридический язык) и др. Добавим, что при этом цитируется одна из работ по юридической технике [Маланина 2006, с. 19].

² Насколько нам известно, сами лингвисты принимали участие в формулировании этих вопросов, что тоже указывает на их метаотношение к описываемой проблематике.

В результате исследования лингвисты пришли к следующим выводам¹:

«В тексте юридического документа должна употребляться юридическая терминология. К числу важнейших требований юридической техники относится определенность понятийного аппарата. К примеру, в Воздушном кодексе Российской Федерации такие понятия, как экипаж воздушного судна, летный экипаж (командир, другие лица летного состава), кабинный экипаж (бортпроводники и бортпроводники), пассажиры и др. Если договор содержит нормы, касающиеся какой-либо категории указанных лиц, то эта категория должна быть четко, в соответствии с терминологией, принятой в законодательстве Российской Федерации, указана в договоре. В исследуемом договоре используются такие термины, обозначающие участников полета, как пилот, пассажир. Категории бортпроводников, бортпроводников и некоторых других лиц, составляющих экипаж воздушного судна, в договоре не называются. Таким образом, в договоре имеются нарушения требований техники юридического письма, повлекшие пробел в установлении норм, касающихся некоторых категорий лиц, в том числе бортпроводников...»

...При составлении договора ипотечного страхования Страховщик имел возможность употреблять адекватные для выражения своей воли языковые средства. Возможности русского языка позволяют более определенно обозначить при составлении текста договора любых субъектов, в том числе категорию бортпроводников, при этом сам жанр юридического документа обязывает Страховщика ясно, точно и однозначно выражать смысл нормы, устанавливаемой в договоре.

О необходимости употребления терминов в тексте юридического документа см. ответ на вопрос 1».

Комментируя данный ответ, нужно отметить, что словосочетание «имел возможность» в экспертном исследовании относится к конкретному случаю, но все-таки **в принципе** возможности русского языка настолько же позволяют, насколько и не позволяют употреблять адекватные для выражения своей воли средства. Данный пример в представленной экспертной логике поднимает вопрос о естественно-языковом праве, вытекающем из текста. Например, в рамках экспертной логики уместен вопрос о том, читал ли подписывающий договор текст договора (напомним, что договор – это **двусторонний** жанр) и если читал, то имел

¹ В данном случае эксперты отвечали на вопрос со ссылкой на ранее исследованные вопросы, поэтому мы позволили себе содержательно объединить два фрагмента экспертного заключения.

ли возможность настоять на ликвидации неоднозначности по отношению к бортпроводнику? Положительный ответ (а для такого ответа в представленной логике есть все основания) уравнивает стороны в правах, вытекающих из текста договора. Отрицательный ответ (для такого ответа есть естественно языковые обоснования – принципиальная возможность омонимичных единиц) переводит ситуацию в режим с отсутствием «виновных». С юридической точки зрения обе ситуации решаются на семиотических основаниях – с применением аналогии закона или права¹.

Второй идеологический слой образует метамиф о необходимости гармоничного соответствия формы и содержания в юридическом языке. Этот миф уже не просто «наивная теория» юридического языка какой-либо социальной группы, но компонент законотворческой и правоприменительной деятельности. Данный миф организует юридическую деятельность, которая в том числе заключается и в «совершенствовании» законодательства, условно назовем такую деятельность «переписывание закона». Развитие юридического языка неизбежно детерминируется теми денотативными ситуациями, которые этот язык призван описывать: естественно, что данные денотативные ситуации бесконечны. Это образует антиномию между тем, что подлежит выражению и средствами выражения (между формой и содержанием). Естественный язык выработал механизмы сопротивления бесконечности, в частности, он обладает «эмическим» уровнем структуры (фонема призвана не только различать звуковые оболочки слов и морфем, но и служить механизмом, способным конечными средствами снять бесконечную позиционную и индивидуальную вариативность звукового пространства речи). Частным случаем установления динамического соответствия между формой и содержанием является и закон асимметрического дуализма языкового знака. В результате развития язык способен образовывать новые дискретные единицы, которые никогда не

¹ Ср. «Презумпция толкования всех неустранимых противоречий и неясностей в действующем трудовом законодательстве, трудовых и коллективных договорах и соглашениях в пользу работника. К сожалению, в ТК РФ названная презумпция не признана законодателем, хотя активно используется в судебной практике. На наш взгляд, целесообразно закрепить в ТК РФ названную презумпцию. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о труде, коллективных договоров и соглашений, индивидуальных трудовых договоров толкуются в пользу работника. При этом под неустранимыми сомнениями, противоречиями и неясностями необходимо понимать лишь такие, которые не устраняются путем применения методов адекватной интерпретации и сравнительно-правового анализа данной нормы с другими отраслевыми нормами (аналогия закона), а равно путем непосредственного применения принципов трудового права (аналогия права)» [Лушникова 2006, с. 17].

смешиваются говорящим, слушающий же решает проблемы семантизации конкретной единицы на фоне всего контекста.

В метасознании рядового носителя юридического языка свойство асимметрии между формой и содержанием попросту отрицается. Отсюда и требования к ясности и точности языка закона, которые, по сути, отождествляются с требованием гармоничного соответствия формы и содержания, отсюда и «переписывание», а не «перетолкование» закона.

Приведем конкретный пример из законодательства о рекламе.

В Законе о рекламе 1995 года [О рекламе 1995] существовала норма о скрытой рекламе, содержание которой заключалось в следующем: «использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции, а также в иной продукции и распространение иными способами скрытой рекламы, то есть рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителем воздействие на его восприятие, в том числе путем использования специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами, не допускаются» [О рекламе 1995]. Очевидно, что генетический смысл нормы (отождествляемый нами, в частности, с «волей законодателя») «настаивал» на обязательности «неосознанного воздействия» и наличии технических средств при производстве и функционировании скрытой рекламы (двойная звукозапись, двадцать пятый кадр). В результате правоприменения данные признаки редуцировались, а ядерными синхронно-функциональными признаками стали возможность квалификации того или иного текста как рекламного текста и запрет на производство рекламных текстов относительно отдельных категорий товаров:

«Из материалов дела видно, что в течение ноября и декабря 2003 года предприятие разместило в городе Казани на рекламоносителях форматом 6 на 3 метра наружную рекламу. В центральной части рекламного щита указано наименование предприятия – "Татспиртпром", над которым изображен его товарный знак; непосредственно под наименованием предприятия расположено словосочетание "Это Ваш Выбор". В нижней части щита фраза: "Отличная компания – Отличное качество".

Из наружной рекламы видно, что в словосочетании "Это Ваш Выбор" начальные буквы в словах "ваш" и "выбор" заглавные, так же как и на этикетке водки "Ваш Выбор", производимой предприятием. Элементы изобразительного и графического оформления наружной рекламы совпадают с аналогичными элементами этикетки водки "Ваш Выбор", что вызывает интерес потребителей к этой водке и заставляет воспринимать информацию, содержащуюся на щите рекламоносителя, как рекламу водки, а не предприятия» [Постановление 2005].

Вполне понятно, что носители языка могли осознано отождествлять эту рекламу с рекламой водки, поэтому признак «неосознанность» вряд ли был важен при квалификации данной рекламы как скрытой, основанием же для положительного решения в данном случае послужили запрет на рекламу алкогольной продукции и наличие **дискретного** самостоятельного смысла у рекламного слогана¹. Таким образом, в правоприменении под действие данной нормы попадали рекламные тексты, содержащие так называемый «зонтичный бренд», бренд, раскрученной марки, как правило, алкогольной продукции (которую запрещено рекламировать), «рекламирующий» другой товар (конфеты, минеральную воду, овощи), а по сути продвигающий все ту же алкогольную продукцию. Одновременно под действие данной нормы попадала реклама, органично встроенная в фильмы (вспомним популярный сериал о няне Вике), в развлекательные программы (вспомним, что на тренировочном льду программы «Звезды на льду» рядом со спортсменами «катается» сок) и т.п.

В новом законе о рекламе [О рекламе 2006] законодатель «посчитал необходимым» явно сформулировать норму о зонтичных брендах: *«недобросовестной признается реклама, которая... представляет собой*

¹ Те же принципы «выделимость» и «запрет» лежат в основе квалификации рекламы как скрытой в комментарии Закона о рекламе: «Классический пример скрытой рекламы приведен одним из разработчиков Закона "О рекламе" профессором А. Пузановским в интервью "Российской газете", опубликованном 30 июня 1995 г. На вопрос корреспондента, что такое скрытая реклама, он ответил: "На наших телеэкранах популярным жанром становятся передачи типа "Лицом к лицу". Это интервью в прямом эфире с известными людьми. И уважаемый артист, писатель, спортсмен вдруг красиво закуривает, ставит пачку определенных сигарет на стол перед собой либо демонстрирует определенную зажималку и т.д. Что это, как не своеобразно поданная реклама? Новелла закона о скрытой рекламе такое акцентированное внимание слушателя, превращающегося в потребителя продемонстрированной продукции, квалифицирует как скрытую рекламу. Если ты рекламируешь товар, то будь добр плати соответствующий налог". А вот более свежий пример скрытой рекламы. 1 мая 1996 г. в телевизионной передаче "Аншлаг", в которой речь шла о творчестве артиста Михаила Евдокимова, участники передачи пили и расхваливали "Кремлевскую водку". Кстати, спонсором программы была организация, выпускающая эту водку, которая указанным выше образом обошла запрет рекламы алкогольных напитков по телевидению» [Вольдман]. Очевидно, что критерий осознанности / неосознанности в данном случае может иметь место, но он явно вторичен.

Прямо же смысл этой нормы иллюстрируется в том же комментарии достаточно общо и неопределенно: «Скрытой рекламой, которая оказывает не осознаваемое потребителем воздействие на его восприятие путем использования специальных видеовставок и иными способами, является реклама, влияющая на подсознание человека путем использования "25-го кадра". В кинофильм к двадцати четырем кадрам, проходящим в секунду, добавляют еще один с конкретной рекламой. Человеческий глаз не улавливает лишний кадр, но подсознание срабатывает, и посетители кинотеатров бросаются покупать тот или иной товар» [Вольдман].

рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара» [О рекламе 2006]. Более того, в новом законе присутствует положение о том, что *«настоящий Федеральный закон не распространяется на... упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера» [О рекламе 2006].* При этом норма о скрытой рекламе остается и в новом законе. Таким образом, законодатель от установившегося соотношения формы и содержания (напомним, что такое соотношение к моменту принятия нового закона вполне успешно функционировало) пришел к новой форме, неизбежно порождающей новое содержание. Во-первых, бывшая ранее «скрытой», реклама, содержащая зонтичный бренд, стала «недобросовестной», во-вторых, интегрированная в произведения искусства реклама остается в новом законе, по-видимому, «скрытой». Однако условие о том, что упоминание о товаре а) органично интегрировано в произведения науки, литературы или искусства и б) само по себе не является сведением рекламного характера, исключает квалификацию сведений о товаре как рекламных сведений и не ведет к применению норм действующего рекламного законодательства. Наличие оценочных в юридическом смысле понятий («органично» и «сама по себе») неизбежно приводит правоприменительную практику к терминологизации данных понятий: через конкуренцию толкований к поиску способов легитимизации этих толкований (Как определить, органично или неорганично интегрировано упоминание о товаре в произведение науки?). По нашему мнению, в данном случае уместен вопрос: так ли уж оправдана представленная идеология, а по существу, что дешевле (в моральном и, в конце концов, материальном плане): принятие нового закона, который призван «выровнять» (гармонизировать) отношения между формой и содержанием, или легитимизация установившегося в ходе юридической деятельности нового соотношения между формой и содержанием? Или в другом аспекте: соответствуют ли усилия по выработке новых принципов функционирования данных норм желанию привести форму и содержание во взаимнооднозначное соответствие?

В заключение отметим, что естественно-семиотическое описание юридического языка пока только начато. Выполнение программы собственно лингвистического описания юридического языка требует проведения теоретических и экспериментальных исследований, направленных на выявление и описание антиномической природы юридического языка и правовой коммуникации.

Литература

1. Вольдман Ю.А. Комментарий закона российской федерации «О рекламе» // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
2. Голев Н.Д. Антиномии русской орфографии. – Барнаул, 1997.
3. Голев Н.Д. Внутренняя форма как универсальный принцип языка и речевой деятельности: на примере графики, орфографии, морфологии и лексики русского языка // Актуальные проблемы мотивологии, дериватологии, лексикографии. – Томск, 1998.
4. Голев Н.Д. От редактора: Правовая коммуникация в зеркале естественного языка // Юрислингвистика 7: язык как феномен правовой коммуникации. – Барнаул, 2006.
5. Губаева Т.В., Шакирова Д.И. Принцип определенности правовой нормы и лингвистическая экспертиза законопроектов // Юрислингвистика-3: проблемы юрислингвистической экспертизы. – Барнаул, 2001.
6. Исаков В.Б. Язык права // Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и юридическом бытии. – Барнаул, 2000.
7. О рекламе: Федеральный закон от 18 июля 1995 года N 108 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. – N 30.
8. О рекламе: Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – N 12.
9. Лушникова М. Публично-правовые и частно-правовые презумпции в трудовом праве // Вопросы трудового права. – 2006. – №3.
10. Маланина Н.В. Тексты нормативно-правовых документов в аспекте языковой личности законодателя (на материале нормативно-правовых актов Алтайского края): Дисс. ... канд. филол. наук. – Барнаул, 2006.
11. Овчинников А.И. Юридическая герменевтика как правопонимание // Правоведение. – 2004. – №4.
12. Пиголкин А.С. Язык закона. – М., 1990.
13. Постановление Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2005 г. N 14319/04 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

КТО И ПОЧЕМУ ПИШЕТ НЕПРАВИЛЬНО В ИНТЕРНЕТЕ?

М.Ю. Сидорова, У Баоянь

В предыдущей статье мы говорили о том, что неграмотность является одним из негативных проявлений свободы коммуникации в Интернете, и о том, что частотность неправильных написаний в сетевом общении нельзя объяснить какой-то одной причиной. Мы должны разграничивать сознательные и бессознательные отклонения от нормативного написания, но при этом помнить, что одни могут маскироваться под другие. С этой точки зрения на территории неформального межличностного общения в русском Интернете обнаруживаются, по крайней мере, четыре группы пишущих.

Во-первых, есть так называемые «падонки», гордо именующие себя «контр-культурными деятелями» и людьми, «способными абстрагироваться от социальных норм и правил (морально-этических и так далее), в каких бы то ни было проявлениях своей воли». Это группы, сознательно посвящающие себя созданию текстов, демонстративно нарушающих языковые и моральные запреты. У «падонкафф» есть своя территория, куда заходят только любители подобного творчества, но и на других Интернет-ресурсах они не редкость. Неграмотность «падонкафф» последовательная, целенаправленная и изощренная, более того она ими идеологически обоснована. Она прокламирована в *Манифесте антиграматности* на одном из их сайтов:

*Мы принципиально протиф так называемай "граматности" в Сити.
<...>*

Па мери савиришенства кампьютерных спилчеккирав руский язык ишо болще патеряит сваих нипасредствинности и абаяния. Паэтому все художники рускава слова далжны бросить вызав убиванию нашива живова языка биздушными автаматами! Главный Принцип нашева великава движения ПОСТ-КИБЕР саварит: "настоящие исскуство новава тыщицелетия – это то что ни можыт делать кампьютер, а можыт делать тока чилавек!!!" "Биз грамотичискай аишпки я рускай речи ни люблю!", писал наш лудший паэт Аликсандыр Сиргеич Пушкин, и эти слава мы бирем дивизом на наш флак В БАРЬБЕ С ЗАСИЛИЕМ

БИЗДУШНОЙ КАМПЬЮТЕРНОЙ ПРАВИЛНАСТИ, которую нам навязывают гацкие роботы-акуппанты!!!!

Оказывается, «падонки» – защитники настоящего искусства и борцы за красоту русского языка, против «бездушной компьютерной правильности». Только мало кто из пользователей Сети, перенявших манеру письма и общения «падонков», знает об этой «высокой» миссии. Как правило, эта миссия принимает в сетевом поведении форму глумления над wybranными объектами (частными или публичными лицами) или откровенной травли отдельных участников коммуникации (организация так называемых флэш-мобов в Живом Журнале, «Парад уродов» на journals.ru). Отрабатываются способы унижения и уничтожения личности посредством языка.

Сочетание орфографических нарушений с лексическими и фразеологическими приметам, а также морфологическими искажениями русских слов создало особый «падонкоффский» диалект. Массовое использование этого диалекта на той или иной странице Интернета сигнализирует о том, что вы попали в зону, свободную не только от языковых правил, но и от правил цивилизованного поведения, от культурных и нравственных устоев общества. Спорадическое употребление элементов этого диалекта возможно в Сети и за ее пределами – с пародийной, оценочной, иронической целью даже у говорящих с достаточно высоким уровнем языковой сознательности; а для выражения приобщенности к миру сетевой коммуникации – у говорящих с самой разной языковой способностью.

«Падонки» – это далеко не предмет науки, но это тот «враг, которого надо знать в лицо», чтобы не плодить этого «врага» в школах и вузах. Чтобы понимать, что очень существенная часть ненормативных написаний в Интернете есть не проявление неграмотности или пресловутая «передача произношения на письме», а сознательное проведение определенной языковой и культурной политики, открытую или молчаливую поддержку которой высказывает ряд наших журналистов и литературных деятелей, переносящих слова типа «превед», «медвед» на страницы своих произведений, в СМИ и рекламу, не задумываясь над идеологией, за ними стоящей.

Опасность контркультуры «падонкофф» в ее агрессивности и лицемерии. Полагая себя ниспровергателями основ и большими оригиналами, лингвистические Интернет-девианты на самом деле паразитируют на человеческой культуре и на русском литературном языке. Их тексты эпатажны только на фоне нормальности, любимые

фразы «падонкафф» типа «Аффтар¹ жжот», «Аффтар пеши исчо» или «Аффтар выпей иаду», «Аффтар аццкий сотона» расползаются по сети за пределы их резервации и вызывают улыбку у пользователей только потому, что контрастируют с нормативными написаниями, хранящимися в их языковом сознании. Представим на минуту невозможную картину: все пользователи Интернета вдруг забыли правила русской орфографии и стали писать «как слышится» – сразу же все эти выверты перестают «играть», теряют всякий смысл. С точки зрения содержания, «аффтары» тоже вторичны, они не существуют без культурной и коммуникативной питательной среды, из которой извлекают объекты для унижения и глумления. При этом «падонки» хорошо организованы и воинственны, прекрасно иллюстрируя известную песню Б. Окуджавы, «любят собираться в стаи» и диктовать свои условия на любом пространстве сетевого общения, куда они допущены. Некоторые пользователи Интернета вынуждены в целях защиты от языковой агрессии ставить на своих сайтах или в дневниках знак «Здесь говорят по-русски» или указывать на недопустимость использования диалекта «падонкафф» на своих страницах.

Вторую группу носителей Интернет-неграмотности составляют крайне неграмотные пользователи, практически лишенные языковой рефлексии и с трудом передающие свои мысли на письме. Говорить о них трудно, поскольку, когда исследователь в Интернете сталкивается с кричаще неграмотным текстом, в котором, что ни слово, то ошибка, следует всегда быть осторожным и прежде всего задаться вопросом: «Уж не пародия ли он?» Стилизации под патологическую неграмотность – одна из форм карнавального поведения в Сети. С другой стороны, культурный и возрастной разрыв между теми, кто изучает Интернет, и теми, кто в нем пишет, может быть так велик, что первым трудно осознать пугающую реальность текстов такого типа: *вот ...сёня мама опять уехала с дядей колей в камандировку...и сказала что будет через неделю...а папа до ночи торчит на работе....вот а брат мой старший со своей девушкой пошли в ресторан и сказал что не придёт дамой а будет в гостинице спать.....так вот я осталась 1 с сестрой а остальные разошли по разным местам....скоро ешё напишу* (если верить данным, указанным в «Профиле» владельца интернет-дневника², этот текст принадлежит двенадцатилетней школьнице).

Другой пример:

¹ Или: *афтар*.

² Мы намеренно берем здесь в качестве примеров тексты Интернет-дневников – жанра, предполагающего наибольшую сознательность и обработанность письма.

*Планета Призраков этой жизни.
Всем демонам этой жизни место здесь сомной.
И всем призракам.
Я первый из перх пириходите не пожилеете.
Все ходящие в тьме объединяйтесь я хочу свергнуть провителей.
Alpha Black Zero Всем удачи!*

Этот текст не просто отдельная запись, а так называемый «поплавок», или эпиграф к дневнику, который выражает жизненное или виртуальное кредо автора и постоянно стоит наверху дневниковой страницы. Такого рода «визитные карточки» продумываются авторами особенно тщательно, здесь тоже налицо претензия на «непростоту» содержания, так что мы можем быть уверены в том, что в данном случае имеем дело с реальным состоянием грамотности пишущего. Подобный уровень дисграфии характеризуется большим количеством ошибок всех типов, классифицированных и изучаемых специалистами в области нейропсихологии письма ([Ахутина 2001], [Корнев 1997]). Как традиционные причины ошибок письма взаимодействуют с дополнительными факторами (печатание в условиях лимита времени и одновременного участия в нескольких коммуникативных процессах, контроль за написанным путем чтения с экрана, а не с листа бумаги и т.п.)? На этот вопрос науке еще только предстоит ответить. И пока ответа на него не будет, нельзя рассуждать о том, насколько Интернет портит русский язык. Трудности языкового анализа, дефекты речевого внимания, слабое развитие функций планирования и контроля речи и другие причины дисграфии выявляются еще у учащихся начальной школы. Другое дело, что до последнего времени человек, не преодолевший этих трудностей, не мог писать публично. Теперь ему есть, где это делать, более того, у каждого такого пишущего есть свои читатели, а значит contagiousность подобных безграмотных написаний возрастает.

В-третьих, есть некий средний уровень неграмотности, представляемый например, дневниковыми записями такого типа:

Давно я тут ничего не писала..да и счас писать что то не особо хочется.. иногда создаётся впечатление,что люди не живут а бегают как белки в колесе...одно и тоже...не знаю для чего я затронула эту тему..мыслей много,но тут почему то не хочется ничего высказывать.Скажу только одно,люди,давайте менять нашу жизнь,давайте почаще улыбаться,не ходить хмурыми и злыми по улицам,давайте делать нашу жизнь ярче и светлее и всегда оставаться самими собой!! (дневник М., darkdiary.ru)

Пишущие, относящиеся к этой группе, отличаются от предыдущей уже тем, что имеют представление о таком знаке препинания, как запятая.

Ошибки у них в основном однотипные, лексический запас и структура предложения более развитые, чем во второй группе.

Наконец, **в-четвертых**, в Интернете очень много людей в принципе грамотных, делающих отдельные орфографические и пунктуационные ошибки, более или менее невнимательных и склонных к опечаткам, особенно в режиме нехватки времени и при параллельном общении с несколькими собеседниками или при одновременном общении в Интернете и рабочих занятиях в реале. В то же время большинство из этих коммуникантов способно сознательно использовать ненормативные написания слов для создания требуемого им эффекта.

Если речь идет о подобных пользователях, то необходимо дифференцированное рассмотрение ненормативных написаний слов, на первый взгляд относящихся к случаям «передачи на письме произношения», которые отмечаются практически всеми исследователями русского языка в Интернете (*тока – только, че – что, вишь – видишь*). Такие отступления от нормативной орфографии, а также применение графических эффектов в Интернет-дневниках были проанализированы нами с точки зрения причинно-следственных связей, целей и эффектов подобных написаний. Обычно интерпретация таких примеров сводится к утверждению о близости неформальной Интернет-коммуникации к устной разговорной речи, причем между устностью и разговорностью четкого разграничения не проводится. Однако можно выделить по крайней мере несколько типов ненормативных написаний по тем (весьма разноплановым) параметрам речи, которые пытаются передать пишущие.

1. На письме изображается «акцент» говорящего (украинский, грузинский, еврейский и т.д.): *дарагой, звиняйте, хлопци, шо-таки делается*. Важен не сам по себе национальный образ-стереотип, а связанные с ним оценочные и эмоциональные ассоциации. Так было, например, в период жарких дискуссий конца 2004 – начала 2005 года по поводу «революции» на Украине, когда активизация лексических и фонетических украинизмов в русском тексте свидетельствовала о позиции пишущего, причем, как правило, направленной против «оранжевого» экстремизма и русофобии.

2. Использование разговорных и просторечных элементов для выражения иронии по отношению к себе, предмету обсуждения, собеседнику: *Вот **щас** только кандидатскую защиту быстренько – и все, конец* (защита диссертации иронически представляется как быстрое и легкое дело). С подобным искажением написания часто сочетается использование разговорной и даже просторечной лексики и грамматических форм.

3. «Карнавальная» имитация безграмотности и низкого уровня культуры:

... все из рук валицо.

Солонку вчера - ббабааах! - на пол. Тока шо не разбил, зато все рассыпал.

А еще мне наконец-то воткнули на стол телефон.

Даже два.

Один городской, другой унутренний. Теперь я похож на оченьбольшогоначхальника: у мене самый большой стол в нашем отделе, на ем самая большая морда и самый чорный корпус, и много переферии, а теперь еще два больших и чорных тилифона.

Важная шышка, да. Сталичьная штучька.

Здесь автор Интернет-дневника для того, чтобы создать виртуальный образ «простого парня», концентрирует в своей письменной речи орфографические ошибки, слова и формы, выходящие за пределы литературного языка. Относительно таких текстов ни в коем случае нельзя говорить о «передаче произношения на письме» или создании эффекта устно-разговорной речи. Это именно сознательная, утрированная *передача неграмотности* на письме, включающая такие написания, которые не имеют ничего общего с произношением. У только что процитированного автора находим, например, *гозетка (газетка), корикотурах (карикатурах), ведзьма (ведьма)* и подобные написания. Часть из них – индивидуальные изобретения автора, часть – типичны для неформального письма в Интернете в целом, в том числе заимствованы из диалекта «подонкафф».

4. «Пародийные», или «цитатные», неправильные написания используются как ироническая реакция на неграмотность пишущего или неспособность его правильно понять собеседника. Это прием иронии, намек, что адресату доступен лишь искаженный язык или имеет чуждые автору реплики, понятия и ценности. Так, в Интернет-дневнике, отвечая в весьма конфликтной дискуссии коммуниканту, подпись которого содержит нарочитую орфографическую неправильность «маленький чОрный робот», его оппонент усиливает эмоционально-оценочную окраску своей реплики, совершая аналогичную «ошибку»: *Я к вам не пришОл. Это вы тут ко мне поприходили.*

Пример форумной коммуникации на сайте <http://www.hpc.ru>.

Пользователь Xpert Mobile CHAT using 9210: *Народ памагите есле можете Есть идея организовать ЧЯТ на мабилах. Тоесть типра Mirca, ICQ, Foruma итд... Но с помацю какой праграмы можна это организовать. Я бы хотел это организовать используя тока свой*

коммуникатор, но выдать придётся использовать его вместе с компьютером. (тагда какая прога нужна). Идея в том чтоб ЧЯТ работал в режиме автомата +/- У каво какие идеи, за ранее благодарен.

Ответ пользователя sulwing: ... предлагаю воспитательную меру-безоговорочное удаление мессаг¹ с процентом орфографических ошибок более 60, – мы же **культурные люди**, да!?! (вроде уложился в 60% 😊).

Нарочитое искажение написания в реплике второго участника общения одновременно акцентное и цитатное.

5. Эмоциональность, передаваемая обычно многократным написанием гласных или использованием заглавных букв и разбиением слова на слоги или буквы с помощью дефиса. Не следует путать применение заглавных букв и других графических эффектов для симуляции эмоциональной речи с применением тех же эффектов для расстановки логических акцентов.

6. Пародия на известную манеру произношения: например, женское (или ассоциируемое с лицами определенной сексуальной ориентации) жеманно-претенциозное *таааакой милый* или «новорусское» *вааааще*. Часто встречаются попытки передать на письме звучание известной фразы из фильма или анекдота.

7. Передача междометий, не только характерных для устной разговорной речи, но и типичных исключительно для письменного электронного общения: *дадад, эгеж*.

8. Передача произношения английских слов в русской графике, причудливо сочетающая транскрипцию и транслитерацию. *Читайте словари (www.lingvo.ru, к примеру), они сеют разумное, доброе, вечное... Насинг, как это уже неоднократно и бывало, пёрсонал!..*

При этом отклонения от нормативного написания и орфографических правил определяются жанром общения в Интернете. Нельзя согласиться с тем, что сознательное использование ненормативных написаний просто диктуется принципом удобства, то есть экономии усилий отправителя и получателя, как на этом любят настаивать студенты в курсовых и дипломных работах. Причины, побуждающие Интернет-коммуникантов писать таким образом, и роль орфографических «неправильностей» в виртуальной среде гораздо разнообразнее и сложнее. Непривычные для не опосредованной компьютером письменной коммуникации написания выполняют в Интернете следующие важные функции:

во-первых, они представляют собой знаки неофициальности среди виртуального коммуникативного сообщества;

¹ Мессаг – от англ. *message*, «сообщений», «реплик» (типичный Интернет-жаргон).

во-вторых, наиболее частотные «искажения написания» служат знаками приобщенности, их использование символизирует принадлежность пишущего к «глобальной деревне» (М. Маклюэн) и осведомленность в ее устоях;

в-третьих, в «карнавальном» общении эти знаки могут быть составляющими виртуального образа;

в-четвертых, ненормативные написания – эффективное средство выражения отношения к собеседнику и к теме разговора.

Примеры с форума Красноярского общественного совета по рекламе, тема «Телевизионные перлы» <http://www.reklama-mama.ru/forum> (пишут в основном профессиональные журналисты, обсуждая работу местных каналов, программы и ведущих):

– ТВК - зоопарк фриков. Кечина как-то давно снимала сюжет про убийство и спросила **убийца**: "Вы человека убили – это хорошо или плохо?". Утренние ведущие этого канала **ваще** вне всякой критики.

– А где же природная тяга журналиста к перевоплощениям, смене ампула, **тык-скыть**?

– **Абыдно** за то, что молодые журналисты мало читают "научно-познавательной" литературы.

– Прима, Детали, вчера.

Начало передачи. Девочка-журналишечка: «Сегодня мы поговорим о занимательной **ТОПОГРАФИИ**. О названиях улиц...» Во дура, думаю. **Сафсем книжок не четала**. Но тут в кадре появляется их «мэтр» – Прохорова – и, ничтоже сумняшеся, повторяет: «Поговорим о названиях красноярских улиц... Занимательная **ТОПОГРАФИЯ**...»

В сюжете речь, действительно, шла о названиях некоторых улиц нашего города.

Но причем здесь **ТОПОГРАФИЯ**, любезные?! Разве сюжет о том, как вы карту города составляли? Как с теодолитом по улицам ходили? Как азимут брали?

Глупы-ы-ые-е! Глупые и нелюбопытные. Кругозор – 12 градусов. Как у лошади на скачках. **Шо** у Прохоровой, **шо** у ее юных коллег. (**Именно «шо», а не «что»**.)

Для справки: <...> (приводятся словарные статьи «топонимика» и «топография» – М.С., У Б.)

Ладно. Прохорову учить уже поздно, тем более, ее, говорят, сам **ПозДнер** учил. А девочке хочу порекомендовать замечательную книжку Льва Успенского «Имя дома твоего». Как раз о топонимике. И еще одну, того же автора: «Слово о словах». Лично я их классе в пятом прочитал, но ей – и сейчас будет не поздно. Любить надо слово, девочки, любить! Чувствовать его, смаковать. Слово и свой язык, если вы **НА ЁМ**

работаете. И каждый такой ляп должен стать поводом для... сами догадаетесь чего.

Мы видим, что ненормативное написание слов активно используется, когда автору нужно выразить свое негативное отношение к тому или иному явлению.

Следующий фрагмент дискуссии в Интернет-дневниках, в которой каждый из оппонентов дает и образцы карнавальной «неграмотности», и примеры владения нормами письменной речи, подтверждает наши выводы. 21 декабря 2004 года обсуждается запись хозяина дневника (он сам в разговоре не участвует) – стенограмма передачи «5 канала» украинского телевидения – рупора оранжевой революции, предваренная автором записи таким пояснением: *Шуфрич – представитель Януковича в Центризбиркоме (ЦИКе), Ключковский – представитель Ющенко в ЦИКе, Скрытин – ведущий передачи (сразу заявил Шуфричу, что был против его приглашения в передачу, на что тот ответил "Я думал, что дебаты будут один на один, но если вам удобнее вдвоем на одного, то я готов" – цитата не дословная, смысл попытался сохранить).* Разговор идет онлайн, временной интервал между репликами собеседников П. и Я., обсуждающих тему, от двух до десяти минут.

П.: Саша, я смотрел эту передачу. Почему ты не обратил внимания на глупости, которые говорил Шуфрич? Ведущий просто не смог разговаривать с кретином сдержанно. Это его человеческая слабость. Если ты заметил, то в беседе с другим представителем Я¹. он вёл себя гораздо корректнее.

Я.: Смею заметить, что ведущему следовало засунуть свои слабости вести себя как подобает человеку на работе. У него работа такая - разговаривать с крестинами. Корректно и объективно. Крестины же при этом сами являют себя таковыми, особых усилий тут прилагать не надо.

П.: У него работа такая - разговаривать с крестинами. Корректно и объективно. Это твоё мнение. А он и его руководство возможно думают иначе.

Я.: Он и его руководство дискредитируют себя, как профессионалов, ежели они думают иначе. Есть понятие этики журналиста. А вовсе не моё мнение.

П.: А где можно почитать про этику журналиста?

Я.: Пойди на кафедру журналистики и спроси жалибным голосом. И ответят тебе. Лекцию даже прочитают. Ильбо же в яндексе набери. Щастье случиться.

¹ Януковича

П.: Спасибо. почитал. и живо представил себе журналиста, сдержанно беседующего с каким-нить чикатиллой.

П.: А действительно, кто в ЦИЖе нейтральный?

Л.: Ну так вот, это такая работа. А ежели ты не можешь говорить с чикатиллой сдержанно - иди в отпуск. Или сразу - домой. Ты не профи. И в эфире тебе делать нечего.

П.: Я тебя понял. токма к сожалению домой пойти не могу - ишо час работать... а шоу мне понравилось. очень было весело.

Здесь один собеседник, для которого демонстративная неграмотность – основное средство построения виртуальной маски «простого парня», как в дневнике (см. пример выше), так и в комментариях, на какое-то время, будучи задетым за живое темой дискуссии, забывает про эту маску и начинает писать вполне грамотно. Другой же, в принципе следящий за орфографией и знаками препинания, в последней реплике сознательно искажает орфографический облик слов, выражая тем самым отношение и к собеседнику, и к предмету обсуждения.

Очень показательны и примеры, обнаруженные нами на форуме «Движения против незаконной иммиграции», участники которого в большинстве своем пишут достаточно грамотно (<http://www.dpni.org/forum>). Сторонники движения знают о том, что их взгляды часто называют фашистскими. Сами они так не считают, но регулярно напоминают в ироничной форме друг другу о том, какую реакцию может вызвать у их противников то или иное высказывание; при этом используется слово *фашист* в искаженной орфографии: *ФОшЫлст!*¹ Ненормативный облик слова сигнализирует для адресата точку зрения автора: это не моя оценка, но многие тебя так назовут. Другой случай, когда грамотный в целом текст перемежается нарочитым искажением письменного облика слов, это сигнал «Я знаю, что вы со мной не согласитесь, что мое высказывание звучит здесь как чуждое»:

*Я не постоянный посетитель. Рад, что мое скромное сообщение нашло столько откликов на форуме. По поводу азербайджанцев: А **кто тада** продавать будет нам же фрукты? Да, монополизацию рынков определенной диаспорой необходимо уничтожить. Но вот вопрос: А кто это мешает сделать?*

¹ Такое написание не изобретено участниками дискуссий на данном форуме, а является стандартным для Интернета ненормативным видом этого слова, выходящим усилиями деятелей киберкультуры и СМИ за пределы сетевого пространства в реальный мир: см., например, в молодежной газете «Акция» (апрель 2006) отчет о проведении акции «Где фоштысты?» в одном из московских клубов.

Азбайджанцев – явная ошибка или опечатка, *а хто тада* – сознательное нарушение орфографической нормы.

Таким образом, на тех сайтах межличностного общения, где нормы русского правописания в основном соблюдаются, сознательное отступление от этих норм часто маркирует противопоставление точек зрения «свой – чужой».

О том, как соблюдение или несоблюдение норм русского языка на том или ином сайте определяется взаимодействием политики администрации и доброй воли пользователей, см. более подробно [Сидорова 2006а].

Все сказанное нами в этой и предыдущей [Сидорова 2006б] статье позволяет оспаривать утверждение психологов, изучающих Интернет (часто без малейшего погружения в языковую ткань его текстов), о пониженной эмоциональности сетевого общения. Сетевое общение в большинстве его форм – это не просто обмен информацией, дискуссии по серьезным вопросам или болтовня на несерьезные темы. Это (чаще всего сознательная) яростная борьба за собеседника, за внимание окружающих, за место в сетевом сообществе (на форуме, в чате, в среде дневниководов) посредством русского языка. В сетевых сообществах обычно существует гласная или негласная конкуренция на роль лидера, в которой в конечном счете побеждает тот, кто лучше пишет (по меркам данного сообщества), а «лучше писать» во многих случаях значит быстрее подавать качественные (умные, смешные, оригинальные, сочувственные – смотря, что требуется) реплики. Такая борьба за собеседника также повышает эмоциональность общения.

На разных стадиях виртуального контакта эмоциональность может носить разный психологический характер (от обидчивой настороженности до безоглядной доверчивости, от нескрываемого восхищения собеседником до резкой ненависти), но в любом случае она находит выражение через языковые и графические (смайлики) средства. Переход от обращения по нику к обращению по имени, нарочитое увеличение дистанции между говорящими использованием Вы на территории ты-коммуникации, совмещение в одной реплике Вы-форм и обращения «сударь» с нецензурной лексикой, резкий переход от грамотного письма к сознательно неграмотному и наоборот, применение графических эффектов (деление слова на слоги, написание слова заглавными буквами и т.п.), активное употребление авторских знаков препинания, подчеркнута рубленый синтаксис, разнообразные способы цитации, включения в свою речь чужого слова – все это формы выражения эмоционально-оценочных нюансов в сетевой коммуникации. Есть еще многие другие, но большинство этих языковых средств обслуживает именно ту область

эмоциональных смыслов, которая отражает важность противопоставления «свой – чужой» в культуре общества и сознании современного человека. Дистанция интимности, степень взаимопонимания между Я и Другим – главный источник эмоциональности межличностной коммуникации в Сети.

Наконец, вернемся к нашему утверждению, сделанному в начале первой статьи: не так нов Интернет, как его малюют. Ни одно исследование русского языка в Сети не будет успешным, если забыть: для некоторых языковых явлений Интернет – источник, для других – катализатор, для третьих – не более чем зеркало, среда, в которой их наиболее просто наблюдать. Проведение четкой границы между теми чертами Интернет-текстов, которые, действительно, обусловлены именно их электронной формой, и теми чертами, которые в электронной форме просто получили более яркую фиксацию, крайне важно для объективного представления о функционировании русского языка и сознания в мировой сети. Прежде всего надо учесть, что интернетизация всей страны совпала у нас (чего не было в англоязычном Интернет-сообществе¹) с радикальными общественно-политическими изменениями, либерализацией и деформализацией во всех сферах, в том числе и языковой.

Стоило бы, делая при анализе сетевых текстов утверждения, например, о том, что в Интернете «словообразовательные процессы обеспечиваются аффиксацией. Активны, в частности, заимствования с суффиксом *-er*² (*браузер, мейлер, спаммер, хакер, геймер, ламер*). При образовании существительных наиболее продуктивен суффиксальный способ: суф. *-ик* (*сетевик*), *-чик* (*интернетчик*), *-цик* (*виртуальщик, сетературищик*), *-изм* (*интернетизм*), *-ость* (*виртуальность*), *-изаций* (*интернетизация, баннеризация*), *-к(а)* в сочетании с интерф. *-л* (*бродилка, болталка*)» [Трофимова 2004б, с. 8–9], уточнять, что подобные процессы не являются спецификой языка Интернета, а идут и во внесетевой действительности (посмотрим хотя бы на заимствования в области маркетинга и менеджмента или на жаргон сноубордеров). Особенно бросается в глаза, когда говорят о жаргоне компьютерных профессионалов и пользователей, смешение явлений, обусловленных Интернетом, и в Интернете представленных. Слова *банить, флудить, коннектиться, офлайнвый, флейм* – есть порождения Интернета как

¹ К сожалению, исследователи русского Интернета (включая и авторов этих строк) не ориентируются так же хорошо в англоязычном и франкоязычном электронном мире, как в русскоязычном. Поэтому иногда трудно точно указать, имеет ли та или иная особенность текста или речевого поведения, замеченная нами в Рунете, собственно русское или международное происхождение.

² Статус *-er* как суффикса обсуждать здесь не будем.

области деятельности, а не сферы функционирования языка, так же как выражения *предпринимательский маркетинг, клиентская база* и т.п. – результат развития маркетинга. Поясним: с изобретением книгопечатания возникло много терминов, относящихся к этому процессу, и они получили отражение в литературе о книгопечатании. Но появились эти термины сначала в устной речи первопечатников, а лишь потом вошли в специальные книги. Таким образом, далеко не всякий раз, когда исследователь обнаруживает в Интернете новое слово или форму, ранее не виденную/слышанную в реальной коммуникации, он должен классифицировать ее как принадлежность «Интернет-языка». Вообще, предпочтительно говорить не о языке Интернета, а о модификациях или вариантах стилей и жанров в Интернете, например об «Интернет-варианте официально-делового стиля», «Интернет-варианте публицистического стиля», «Интернет-варианте жанра неформальной дискуссии».

При объективно-научном подходе в неформальном Интернет-общении можно выделить несколько групп языковых примет и коммуникативных признаков, различающихся по происхождению:

1) черты, свойственные аналогичным жанрам докомпьютерной эпохи: например, электронная переписка – частная и официальная – сохраняет основные признаки «бумажных» эпистолярных жанров; речевое поведение участников форумов и членов дневниковых сообществ во многом отражает традицию русской устной неформальной беседы; а часть тех сокращений, которыми изобилуют чаты и ICQ, была не менее распространена в жанрах студенческого конспекта или коммерческого телекса¹;

2) черты, свойственные компьютерной коммуникации доинтернетовского периода, обусловленные не сетевой, а собственно компьютерной формой текста (например, на смену типичной для невнимательных людей описке «в» вместо «д» приходит опечатка «л» вместо «д» – клавиши рядом, а вместо P.S. в завершении неофициального письма, напечатанного на компьютере, мы можем обнаружить кириллическое «соответствие» ЗЫ – автор сэкономил одно нажатие клавиш для переключения шрифта)²;

¹ См. также: [Федорова 2003].

² Черты собственно компьютерного текста противопоставляют его и другим электронным жанрам, например, СМС-сообщениям. В частности в так называемом SMS-texting-е есть целый класс явлений, вызванных к жизни необходимостью передавать русские слова латиницей при ограниченности длины сообщения (скажем, экономящее один знак использование цифры 4 вместо sh для передачи русского Ч – *4ашка*). В коммуникации, опосредованной компьютером, мы это тоже обнаруживаем, но не как средство языковой

3) черты, привнесенные в речевую деятельность и тексты новой, послеперестроечной эпохой, например «раскрепощение» до недопустимой прежде фамильярности речевого этикета, смещение стилистической шкалы «высокое – нейтральное – низкое», криминализация лексикона, активизация заимствований и другие лексические сдвиги (изменение оценочных характеристик слов, частотности слов) и т.п.;

4) черты, заимствованные Рунетом из англоязычной Интернет-коммуникации (более осторожная формулировка: черты, разделяемые с ней), например смайлики;

5) собственные особенности русскоязычной компьютерно-опосредованной коммуникации, например, приветствие «Доброе время суток!», обязательность использования «ты» при общении между незнакомыми людьми в Интернет-дневниках и некоторых других жанрах и др.

Принципиально важным представляется учитывать две характерные тенденции в русском языке Интернета, выделенные Л.Ю. Ивановым [Иванов 2000б]: «Во-первых, *одновременно протекающее усложнение одних и упрощение других средств* по сравнению с аналогичными средствами в литературном языке, не подвергавшемся воздействию ГС. Эта тенденция затрагивает план выражения, план содержания и план прагматических интенций. <...> Во-вторых, *конкурирующее воздействие норм письменной и устной речи*».

Другая проблема: «между спутником и микроскопом». Как и с любой новой сферой существования языка, в случае с Интернетом закономерно на первом этапе появились два типа лингвистических описаний – общие характеристики «языка» Интернета, напоминающие панорамные снимки земной поверхности из космоса, и работы, под микроскопом рассматривающие отдельные факты – заимствования, ненормативные написания и т.п. Из этих исследований стало ясно, что и в каком количестве есть в Интернете, определились тенденции развития русской речи в виртуальном пространстве, выявились основные направления исследования. Но мы еще плохо знаем языковые и коммуникативные особенности отдельных жанров, а главное пока лишь подходим к исследованию речевого поведения русского человека в Интернете, факторов, его регулирующих, лингвистических признаков, позволяющих о нем судить.

Кроме того, мы еще не научились дифференцированно рассматривать разные группы пользователей Интернета, для лингвистической

экономии, а как выразительное средство, см., например, название (!) Интернет-дневника «4и6», что, разумеется, читается по-русски как «Чушь».

литературы характерна идеализация социокультурного облика пользователя Интернета, противоречащая статистике и языковому материалу. Утверждение Л.Ю. Иванова, сделанное в 2000 году: «Люди, посещающие глобальную сеть, относятся преимущественно к группе авторитетных носителей языка, оказывающих наибольшее воздействие на него. Ощутимая часть пользователей глобальной Сети принадлежит к так называемой интеллектуально-творческой элите общества», – по крайней мере в 2005–2006 годах не отвечает реальностям Сети¹. Абсолютно не соответствует действительности и мнение, что «российский контингент пользователей Интернета распадается на две группы, довольно далеко отстоящие друг от друга в реальной жизни: с одной стороны, это представители интеллектуальной, политической и деловой элиты общества, а с другой – люди высокого достатка, зачастую не стремящиеся к высшему образованию. Поэтому именно Рунет отличается от других национальных сегментов Интернета высоким процентом инвективной лексики, присутствием просторечных слов и выражений, а также низким уровнем грамотности, если попытаться вывести в Рунете некий усредненный балл. В то же время среди потребителей Интернет-продукции большую часть составляет высокообразованная аудитория, которая стремится привнести в Рунет речевую изысканность и языковую грамотность» [Трофимова 2004а]. Возражать нас заставляет не только возникающее при чтении этих строк ощущение, что мы пользуемся каким-то иным Рунетом, чем упомянутая «высокообразованная аудитория, которая стремится привнести в Рунет речевую изысканность и языковую грамотность», но и объективная статистика. Журнал «Итоги» [<http://www.itogi.ru/Paper2004.nsf>] видит в Рунете «зеркало российского среднего класса»: «По данным Spylog наиболее популярными словами в Рунете являются "рефераты" (красноречивая иллюстрация присутствия в Рунете студентов и школьников), "погода", "гороскоп", "новости" и "гадания". В первой двадцатке также встречаются запросы, относящиеся к сексу, поиску знакомств, отправке поздравлений и виртуальных открыток.<...> Другими темами, интересующими посетителей Сети, являются автомобили, недвижимость и путешествия». По опросу агентства МАСМИ (ноябрь 2004 г.) [<http://www.cnews.ru>] среди аудитории Рунета высшее образование имеет только половина.

Таким образом, русский Интернет не так оригинален в лингвистическом отношении на фоне других сфер современной русской

¹ По данным агентства Monitoring.ru и Института социально-психологических исследований и в 2000 г. основную часть пользователей Интернета в России составляли студенты. [<http://www.era.ru/eraline/getnews.asp?SID=639>].

коммуникации, как казалось нам при первой встрече с этой разнообразной, безбрежной речевой стихией. Сетевые жанры выступают как преемники внесетевых и досетевых, а многие «особенности» Интернет-коммуникации оказываются лишь зафиксированными в открытом доступе для взгляда ученых актуальными общеязыковыми явлениями. С другой стороны, специфика коммуникативного поведения русского человека в Сети и текстов, им порождаемых, на фоне англоязычных составляет нерешенную научную проблему, значимую не только для лингвистики и других гуманитарных наук, но и для практической деятельности в сфере информационных технологий, образования и политики.

Литература

1. Ахутина Т.В. Трудности письма и их нейропсихологическая диагностика // Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция. – М., 2001.
2. Иванов Л.Ю. Язык интернета: заметки лингвиста. // [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 2000. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: <http://flogiston.ru/projects/articles/>.
3. Иванов Л.Ю. Язык интернета: заметки лингвиста // Словарь и культура русской речи. – М., 2000.
4. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. – СПб., 1997.
5. Сидорова М.Ю. Интернет-лингвистика. Русский язык: межличностное общение. – М., 2006 (а).
6. Сидорова М.Ю. Лингвистическая уникальность и лингвистическая банальность русского Интернета // Филология и человек. – 2006. – № 1
7. Трофимова Г.Н. Языковой вкус Интернет-эпохи в России. – М., 2004 (а).
8. Трофимова Г.Н. Функционирование русского языка в Интернете: концептуально-сущностные доминанты: Автореф. дис. ... доктора филологических наук. – М., 2004 (б).
9. Федорова Л. Л. Чат и драматический полилог: точки схождения // Московский лингвистический журнал. – 2003. – Том 7/1.

ПАРОДИЯ КАК ЗНАК ДИСКУРСИВНОГО ПРОСТРАНСТВА

И.М. Волчкова

Коммуникационный процесс, в сферу которого включены все формы общественных отношений и взаимодействий, представлен как дискурс коммуникации. «Под словами «язык», «дискурс», «слово» и тому подобными будет подразумеваться любая значимая единица или образование, будь то вербальное или же визуальное» [Барт 1996, с. 235].

Известная бартовская формулировка представляется оптимальным вариантом выражения взаимодействия понятий знак и коммуникация. Дискурс в современных исследованиях, опирающихся на классические постулаты, связан непосредственно с построением новых кодов и систем знаков на рациональной основе, предполагающей кодирование и перекодирование информации, сознательную организацию, трансформацию её в качественно иную форму [Мальковская 2005, с. 15, 25].

Сегодня, в условиях информационной эпохи, все более становится ясным факт, что медиа-сфера современного общества представляет не просто информацию, а «информационный образ», восприятие которого опирается на многозвучие, полифонию, абстрактность и пластичность коммуникативного дискурса. Коммуникация, как результат опыта, уступает место коммуникации виртуальной, «сетевой», интерактивной. Манипулятивные аспекты коммуникации достаточно хорошо изучены сегодня: это и собственно вербальные, семантические, средства, и акустические, и музыкальные, даже *тишина*, а также «новояз», не утративший свою значимость для современности [Кара-Мурза 2006, с. 91].

Безусловно, в таких условиях человек подвергается сегодня угрозе «саморазрушения сознания», попадая под новейшую идеологическую обработку постмодернизма – «постмодернистской чувствительности» и «пародийного модуса существования» – этих новейших постструктуралистских медитаций, служащих основанием для разработки технологий господства», – считает А.С. Панарин [Панарин 2000, с. 184].

Сочетание кодов (по М. Бахтину) определяет современные средства и приемы общения, где знаком может сделаться любая материальная вещь, активно используемая имиджмейкерами и политехнологами в реализации программы манипулирования. Причем совпадение кодов передающего и принимающего в реальности возможно лишь в некоторой весьма относительной степени. Из этого неизбежно вытекает относительность идентичности переданного и полученного текстов.

Простота и примитивность тематики общения, его структуры и общего стиля определяют стилистическую «сниженность», вулгаризованность, а также широкое применение грубого смеха, как наиболее подходящего из всего многообразия видов и форм осмеяния. Смех становится знаком дискурсивного пространства, воспринимается как эстетическая доминанта времени.

Приемы и средства, используемые субъектами смехотворчества, прекрасно вписываются в идею карнавализации и пародирования коммуникативного дискурсивного пространства, совершенствуясь в современных условиях реализации.

Медиа-тексты диктуют взаимоотношения коммуникаторов, все более приближая информацию к «клип-образам», формализуя и разрушая само поле коммуникации, создавая поле самовыражения. К статусу общенародного механизма движется обиходно-разговорный язык; возникает престижная форма спонтанной, повседневной полуофициальной коммуникации. Движение языковой действительности в данном направлении имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Во многом это отражение языковой стихии масс, управление которой в обществе затруднено, а возможно, как считает С. Кара-Мурза, и нежелательно [Кара-Мурза 2006, с. 91].

Однако не надо забывать, что в любое время массы не есть нечто цельное и аморфное. На «таблоидном» фоне активизировался такой «смеховой» жанр, как пародия. Признано, что российского человека всегда отличало ироничное, юмористическое, пародийное отношение к себе и своей действительности. «Юмор – удел не разбалансированного, а скорее концентрированного, саморегулируемого сознания. В личностном плане юмор – это свойство сильного и адекватного характера, склонного воспринимать жизнь позитивно и оптимистично, а потому имеющего надежное средство психологической защиты – смех» [Мальковская 2005, с. 192]. Солидарен с автором этих строк и В. Шендерович, отмечая юмористическую составляющую ментальности как средство «самозащиты» [Шендерович 1998].

На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков происходит смена доминанты при представлении знака. В центре *interpretant* – особый когнитивный процесс, необходимый для распознавания знака. Этот знак полностью зависит от интерпретационных процессов и характеризуется относительностью в пространстве-времени. Доминантным становится представление сознательной и подсознательной деятельности, представление неизреченной мысли.

Имея давнюю историю, пародия пронизывает сегодня культурное и социально-коммуникативное пространство: и литература, и кино, и политическая сфера многими воспринимаются как пародия, фарс. Конечно, качество пародийного материала зависит от многих составляющих, в частности – от специфики самого материала и способов его презентации в новом оформлении. Иначе как пародию трудно воспринять сегодня некоторые тексты официальных изданий доперестроечного и постперестроечного времени. И.П. Лысакова приводит в качестве неудачного, высокопарного, пафосного текста публикацию «Свет любви» в газете «На страже Родины» от 29 декабря 1989: «...*Горит семейный огонек. Горит, как Вечный огонь, зажженный в честь павших во имя Отчизны на полях сражений с ненавистным врагом – поработителей*

воинов, и в том числе офицеров: мужественных, непреклонных, верных военной присяге и своему долгу, горит и согревает сердца!...». Высокая патетика темы Вечного огня явно неуместна в интимном повествовании о семье. Пародийный тон медиа-текстов перестроечных лет связан с «разрушением пропагандистских формул советской эпохи». И.П. Лысакова пишет: *«Вот как делала газета «Смена» в разделе «Факс уполномочен заявить»». Он появился на страницах «Смены» 1 августа 1990 года в том первом бесцензурном номере, когда начал действовать закон о печати. Само название раздела ассоциировалось у советских читателей с привычной формулой «ТАСС уполномочен заявить»». Трансформация этой высокой фразы воспринималась как дерзость. Веселый вызов официозу стал стилистической доминантой рубрик и заголовков в заметках этого раздела»* [Лысакова 1993, с. 103].

Современная общественная жизнь выдвинула нового журналиста, который, отказавшись от пафосного стиля старшего поколения, ироничен, позволяет себе поиздеваться над всем и вся даже в информационном материале. Новый тип общения проявляется и в манере речевого поведения, и в самом стиле, который у каждого журналиста в то же время индивидуален.

Сегодня «пародийный дискурс» есть форма существования большинства медиа-изданий. Так, газета «Завтра», при очевидном желании сохранить культурные традиции советской прессы, её литературность, исчезающие жанры – очерки, передовые, фельетоны – использует стилизацию, жесткую метафорику, «играя и обыгрывая», принимает пародийный тон как естественное рациональное начало. Причем этот прием в газете проявляется иногда в гораздо большей степени, чем, например, в достаточно «свободной» «Комсомолке».

Обеспокоен проблемами печатных текстов СМИ Г.Я. Солганик, поднявший еще в 1997 году вопрос о «новом явлении в языке газет»: «частом использовании (без кавычек) выражений, строчек из популярных стихотворений, песен, кинофильмов, других источников» [Солганик 1997, с. 23]. Исследователь связывает это с изменяющимся языковым сознанием, языковой игрой с классическим текстом, изменением кодовой программы. Понимаемые в самом широком плане (то есть устойчиво и регулярно вербализуемые в коммуникации единицы), прецедентные тексты как медиалингвистические феномены имеют отношение именно к дискурсу как элементу коммуникации, реализуя при этом явно пародийные свойства. Имеются попытки ввести в определенное русло стихийный, неуправляемый поток цитат, речений, искаженных парафраз, льющийся со страниц СМИ и литературных изданий. Это специальные словари,

сборники цитат, афоризмов (см., например: Душенко 2003, Шулежкова 2003).

Примером такой понятой и принятой языковой игры на основе пародирования становятся многочисленные тексты, рисунки, комиксы, связанные с появлением бестселлера «Код да Винчи» и выходом на экраны культового фильма. «Новая газета» поместила на последней странице стилизованный рисунок кота, заключенного в известный круг да Винчи, – Кот да Винчи. «Все права на это изображение принадлежат нашим друзьям из сатирического журнала «Крокодил» (см. № 6, март 2006), – комментирует газета. Пародийность ситуации легко воспринимается в контексте времени. Читатель и автор в рамках концептуализованного мышления без особого труда находят точку отсчета: текст как прием, игра с приемом, прием внедрения смысла в рамках коммуникативного опыта.

Пародийность настолько проникла в существо нашей дискурсивной палитры, что пародийными становятся не только вербализованные знаки, но и визуально-аудиальные: фотографии-коллажи и фотомонтажи на газетных страницах, знаки бренда, звуковые сопровождения рекламы, выступления публичного человека.

«Новая газета» в рубрике «Смотрите – кто» демонстрирует читателям новый вид жанра, основанного на пародии как смеховом приеме. Статья «Переводные картинки» рассказывает о новом жанре кино-пародий на западные блок-бакстеры, возникшем с «легкой руки» бывшего московского опера Дмитрия Пучкова, более известного широкой общественности под именем Гоблин. Как объясняет Гоблин, жанр возник совершенно спонтанно, как реакция на неточные и неинтересные переводы западных фильмов, результатом чего стали именно пародии на плохой перевод, а не издевательство над фильмом. Почва для такого восприятия в России имеется. На вопрос «Почему открытый вами жанр (смешные переводы) стал так популярен в России?» Дмитрий отвечает:

– Русские – нация исключительно насмешливая. Нас хлебом не корми, только дай над чем-нибудь поиронизировать и посмеяться. Неважно, Сталин или Горбачев, неважно, что полстраны без штанов и недоедает, нам постоянно весело. Думаю, именно поэтому веселый жанр так успешен (Новая газета. 2005, № 10).

Полагаем, что автор лукавит и недоговаривает главного: пародия не может удовлетворить всех, она возможна только при условии адекватного реагирования на факт пародирования, установления того самого «бахтинского» кода на линии автор – воспринимающий.

Как пародия может быть рассмотрено использование так называемых симулякров (по Ж. Бодрийару: «Симулякры и симуляции»). Интересны примеры, приводимые И.А. Мальковской, которая говорит о «символике

конвенциональных значений в условиях гиперреальности (подобия реальности, ощущаемой в общественном сознании) утрачивает корреляцию между смыслом и значением, разрушает смысл. Информация, подаваемая как намеренно разубеждающая, превращается в пародию на саму себя, в особый «знак коммуникации» [Мальковская 2005, с. 109; Рюмина 2006, с. 285].

Глубоко убежден в серьезности пародии С. Кара-Мурза, наблюдающий «научно-обоснованную» обширную программу порчи фонетической основы русского языка» как манипулирующего приема. «В СССР сложилась собственная самобытная школа радиовещания как особого вида культуры и даже искусства XX века... Подражая «Голосу Америки», дикторы используют чуждые русскому языку тональности и ритм. Интонации совершенно не соответствуют содержанию и часто просто оскорбительны и даже кощунственны. Дикторы проглатывают целые слова, а уж о мелких ошибках вроде согласования падежей и говорить не приходится. Сообщения читаются таким голосом, будто диктор с трудом разбирает чьи-то каракули. Все это – подкрепление «семантическому террору» со стороны фонетики», – резюмирует автор [Кара-Мурза 2006, с. 107–108].

Ярким примером «официальной пародии» стала передача на канале «НТВ» «Реальная политика» с ведущим Г. Павловским, где компьютерные кукольные персонажи или пара-ведущие, имеющие явный пародийный облик и характер, разыгрывающие после комментария ведущего пародийные сценки, сводят на «нет» – сознательно и достаточно успешно – смысл реальной политической ситуации, превращая её в квази-ситуацию.

Смех в контексте политической культуры, как мы знаем, присутствовал всегда. Демократические установки ориентированы если не на развенчание политической фигуры, то на снижение имиджевого уровня. Свидетельство тому – многочисленные анекдоты о речи современной политической элиты, о казусах в их высказываниях, просчетах в их поступках. Характерно, что «перлы» из речи политической элиты передаются не только устно, но и фиксируются в газетных изданиях. Так, несколько примеров подобного рода, опубликованных на последней странице газеты «Завтра» (№ 52, 2003) в статье «И смеф, и грэф...» под заголовком «Народ все еще смеется»:

«Антология Бориса Круткова «Антология политического юмора современной России» вышла в изд-ве «Буридан». Это пространное, довольно любопытное и порой слишком наукообразное исследование, посвященное игровому, гротескному аспекту актуальной политики. Но почему, спросите вы, «политический юмор», а не сатира? ...сегодня классическая сатира, обличающая пороки современного общества,

уступила место сарказму и «юродству» (форме смеховой культуры, принятой на Руси издавна)). Примеры из книги:

«Ельцин, одеваясь утром, шарит по карманам своего пиджака:

– Паспорт здесь, пенсионное удостоверение здесь, пропуск в Кремль здесь. Так, на сегодня работа с документами закончена»

«Уходя в отставку, БНЕ решил сделать широкий жест и отдал половину своих резиденций детям. А вторую половину – внукам...»

«– Господин мэр, почему вы даже зимой в кепке?

– Пробовал шапку – горит...»;

«Колхоз «Путь Ленина» переименован в «Лень Путина».

Пародия как смысловая игра, как наложение смыслов без интерпретации актуализирована в анекдотичном тексте с подтекстовой проблемой отношения общества и элиты. Этическая составляющая дискурса в данном случае оттесняется на периферию и подавляется в сознании массового читателя универсальностью кода-образа. Народное сознание, привыкшее к выражению негативного отношения к власти через анекдот, тонко и иронично подмечает типизированные характеристики, служащие, как сегодня говорят, брендом для многих политиков.

Феномен ерничества – стеб – род интеллектуального ерничества, состоящий в снижении символов через демонстративное использование их в пародийном контексте. Сегодня мы наблюдаем, как разнообразится речь, льющаяся с экранов. В интервью газете «Форбс» один из авторов удивительной российской реформы, А.Чубайс, откровенно признался: «У нас был выбор между криминальным переходом к рыночной экономике и гражданской войной» (Литературная газета, 20.10.2000).

Вульгаризация как обобщение многих существенных черт современного устного речетворчества явилось следствием тех глубинных процессов, которые характеризуют общество. Стиливая палитра политического дискурса трудноопределима, но крен заметен явно не в сторону нормированности и соблюдения стиливых рамок. Сегодня языковая среда демонстрирует скорее отсутствие всякого стиля, чем признание этого стиля, и народным сознанием воспринимается как пародия на «хорошую» речь, как обманутое ожидание. Мы не можем отрицать возникновение особого языкового страта в виде престижной формы спонтанной повседневной полуофициальной коммуникации.

Свидетельством тому служит огрубление речи, «житейская идеология», речетворчество на уровне языковой игры: *Какие тут прогнозы? Надо кое-кому врезать как следует, всех поставить на место, привлечь людей, поставить хозяина – и вперед!* (В. Черномырдин); *Шмаков вечно боится за девственность пролетариата, а мы свое дело делаем и будем делать* (В. Анпилов)

С другой стороны, отмечаются такие элементы характеристики речи, как ее эвфемизация, перифрастичность, цитатность, излишняя метафоричность: *Старая истина гласит: если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно* (С. Кириенко). Складывается впечатление, что стремление всякий раз подкрепить свой поступок цитатой – удобная форма освобождения от личной ответственности.

Личное отношение к высказываемому часто оказывается важнее смысла, что выражается в «косноязычии власти» (В. Колесов), политическом пустословии. Вот примеры афористики без мысли: *«Я иду с ним на короткий контакт. И он идет со мной на короткий контакт. А два коротких контакта дают не замыкание, а хорошую отдачу»* (Б. Ельцин); *«Это очень такой важный момент. Ну, это мое мнение. Я так считаю. Думаю, здесь надо. Один плюс-минус роли не играет. Абсолютно никакой. Только в положительном плане»* (В. Черномырдин о взаимоотношениях с МВФ); *«Мэр Москвы обладает многими выдающимися качествами. Не хотелось бы говорить об этом за глаза. Лучшие б в лицо»* (С. Ястржембский); *«Вопрос поставлен настолько в лоб, что на него нельзя ответить»* (Е. Строев).

Центральное место в политической мифологии отводится личности героя. Несмотря на то, что имидж обладает огромной устойчивостью, существует множество способов его изменения в положительную или отрицательную сторону. При пародировании происходит демонстрация процесса демифологизации личности, разрушение имиджа [Волчкова 2005, с. 15; Мальковская 2005, с. 178–180].

Ярким примером такого использования СМИ для снижения имиджевого уровня части современных политиков, обладающих устойчивым в начале перестройки имиджем демократов, являются публикации в оппозиционных газетах. Так, статья «Битва гигантов сливного бачка» напечатана в газете «Завтра» (1999, № 46) за подписью редактора А. Проханова. Даже приводимая в очень значительном сокращении, она демонстрирует жесткий пародийный тон текста:

«Не правда ли, в этом есть нечто библейское – «Эклезиаст» или «Книга царств»? Ельцин убил Советский Союз и родил Чубайса. Чубайс убил экономику и родил ваучер. Ваучер убил несколько миллионов русских людей и родил банкиров. Банкиры, числом «13», сели вокруг убитой страны и, как мародеры, по-честному, стали делить часы, кольца, цепочки, выламывать золотые коронки. Один не выдержал и фраернулся по жадности. Когда главу «ОНЭКСИМ-банка» Потанина сделали вице-премьером, он забыл о товарищах, и в карман «ОНЭКСИМА» упал сочный кусок госсобственности – «афера Су», Череповецкий комбинат, а позднее – «Норильский никель».

Нечестного ф्राера скинули, но его покровитель Чубайс остался. Вместе с жеманным, в бигудях, Немцовым он стал называться молодым реформатором.

Как видим, пародийный характер этой насквозь претенциозной статьи складывается под воздействием – достаточно умелым – совмещенных на текстовом пространстве средств и приемов, отработанных в языковой культуре веками. Тут и аллюзии с использованием библейских текстов, и явные оскорбления с использованием ненормативной лексики. Отсутствие аргументации как средства деморализации облика героев, лишение созданного демократической печатью мифологического флера также берется автором на вооружение. В результате облик демократических вождей приобретает явно негативный характер, имидж «героев» снижен до уровня простых уголовников. Итак, и здесь совокупность пародийных приемов выступает как знаковая сущность.

М. Эпштейн, пытаясь найти объяснение экспансии пародирования, приходит к тому, что «общество обнаружило «интеллектуальную усталость XX века от самого себя...». Быть может, считает М. Эпштейн, глубоко проанализировавший современную «смеховую» ситуацию и её знаковый для общества характер, «лучший механизм описания современной российской действительности – это «серьезная пародия», демонстрирующая нелепость и необходимость перевода одних структур, тоталитарных, на язык других, демократических форм» [Эпштейн 2005, с. 14].

Литература

1. Барт. Мифологии. – М., 1996.
2. Волчкова И.М. «Смеховая культура» в современном дискурсе. – Екатеринбург, 2005.
3. Душенко К.В. и др. Словарь современных цитат. – М., 2003.
4. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. – М., 2006.
5. Лысакова И.П. Пресса перестройки. – СПб., 1993.
6. Мальковская И.А. Знак коммуникации. Дискурсивные матрицы. – М., 2005.
7. Панарин А.С. Искушение глобализмом. – М., 2000.
8. Рюмина М.Т. Эстетика смеха. Смех как виртуальная реальность. – М., 2006.
9. Солганик Г.Я. Без кавычек. Об одном новом явлении в языке газеты // Журналистика и культура русской речи. – М., 1997. – Вып. 4.
10. Шендерович В. Игра в куклы с народом и властью // Общая газета. – 1998. – № 33.
11. Шулежкова С.Г. Словарь крылатых выражений из области искусства. – М., 2003.
12. Эпштейн М. В России. Из Америки. Эссе. – Екатеринбург, 2005. – Т.1.
13. Эпштейн М. Идеология и язык // Вопросы языкознания. – 1991. – № 6.

СИНТАКСИЧЕСКАЯ КОНВЕРСНОСТЬ В СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

С.А. Добричев

Практически все работы, посвященные проблеме конверсных отношений в языке, ограничены рамками простого предложения, в структуре которого происходят взаимные перемещения конверсантов главным образом относительно предикатного ядра.

Вместе с тем конверсные отношения (далее КО) в синтаксисе реализуются и в более сложных структурах – сложных предложениях (как сложноподчиненных, так и сложносочиненных), конверсантами в которых являются не отдельные лексемы и словосочетания, а целые предложения, ср.

There was nothing on TV, so I decided to go to bed \leftrightarrow *I decided to go to bed because there was nothing on TV* (причинно-следственное КО).

Give me the money or I'll shoot you! \leftrightarrow *I'll shoot you if you don't give me the money!* (КО условия).

The sun was shining, yet it was quite cold \leftrightarrow *It was quite cold though the sun was shining* (КО уступки).

Ronald Reagan had joined the Republican Party before he became Governor of California \leftrightarrow *Ronald Reagan became Governor of California after he joined the Republican Party* (темпоральное КО).

Конверсные отношения в сложных предложениях имеют ряд специфических признаков структурно-семантического характера, которые отличают их от конверсных корреляций в простых предложениях при общности категориальных критериев.

Во-первых, конвертируемыми элементами в сложных предложениях являются не отдельные имена, а простые предложения, обозначающие соответственно две разные, хотя и взаимосвязанные ситуации.

Схематическое изображение КО на уровне сложного предложения будет выглядеть следующим образом:

$$S1 \rightarrow R1 \rightarrow S2 \leftarrow R_{conv} \rightarrow S2 \rightarrow R2 \rightarrow S1.$$

В данной конверсной формуле конверсантами являются предложения S1 и S2, взаимное перемещение которых относительно друг друга не влияет на тождество отображаемого сложного денотата, каким являются две взаимосвязанные ситуации. Если учесть, что простые предложения S1 и S2, в свою очередь, описывают предметные ситуации [Гак 1998, с. 305], то в этом конверсном бинарном ситуативно-релятивном комплексе обнаруживается трехуровневая таксонимическая сетка отношений:

1. Отношения первого уровня, или уровня простого предложения, составляют предметные отношения, эксплицируемые различными рода предикатами.

2. К отношениям второго уровня, или уровня сложного предложения, относятся межситуационные отношения, эксплицируемые конверсными коннекторами – союзами различной семантики.

3. Наконец, к отношениям третьего уровня, или межпредложенческого уровня, относятся КО (отношения между ситуативными отношениями), вербально не выраженные, поскольку они принадлежат к импликационному типу связи.

В отличие от конверсно коррелирующих простых предложений, в которых конверсным ядром являются предикатные единицы, выраженные глаголами, существительными, прилагательными, наречиями и предлогами, в коррелятивной паре сложных предложений конверсной семантико-синтаксической осью, вокруг которой «обращаются» синтаксические структуры, являются конверсные союзы. Союзные средства несут информацию не только о типе отношения, но и о его направлении [Фигуровская 1996, с. 89]. Союзы, многие из которых имеют по две активные валентности, по самой своей природе обладают необходимыми свойствами для развития конверсных отношений [Апресян 1995, с. 264].

Союзы в конверсном бинеме сложных предложений реализуют как связующую, так и квалифицирующую функцию, обозначая содержательные отношения между связываемыми единицами [БЭС 2000, с. 484]. Семантика союзов, имеющих в арсенале любого языка, представляется прототипической, поскольку является проекцией типовых отношений реального мира в синтаксическую систему языка. Как отмечает Ю.Н. Власова, «отношения между элементарными предложениями, входящими в состав сложноподчиненных предложений и некоторых типов осложненных предложений, фокусируются союзами, которые являются отражением тех или иных типов связи между предметами и явлениями реальной действительности» [1981, с. 36].

Не все союзы являются конверсными, что также связано с сущностью и природой отношений реальности, среди которых конверсно маркированными являются лишь некоторые.

Важнейшей объективной и универсальной связью явлений, обладающей конверсной природой, признается причинно-следственная связь. Причина и следствие с логико-философской точки зрения фактически являются онтологическими конверсантами, связанными отношением взаимной импликации: не может быть следствия без причины и наоборот, причины без следствия. Поэтому вербальной лингвистической

формулой, отражающей объективные причинно-следственные связи, может служить структура с конверсными глаголами *cause* и *result*: *A causes B* \leftrightarrow *B results from A*. Причинно-следственные конверсаны А и В репрезентируются в синтаксической системе языка как именами, так и предложениями.

Синтаксическая репрезентация конверсных причинно-следственных отношений на уровне сложного предложения в английском языке варьируется и по структурным, и по коммуникативным параметрам.

1. Взаимная пермутация предложений без каких-либо изменений другого рода имеет место в сложноподчиненном предложении, например:

Because you've worked so well, I'm giving everyone a 100% bonus \leftrightarrow *I'm giving everyone a 100% bonus because you've worked so well.*

Субституция союза *because*, вводящего придаточное предложение причины, на синонимичные союзы *since* и *as* практически не меняет синтаксического и смыслового статуса главного предложения, выражающего следствие, и придаточного предложения, выражающего причину. Взаимное перемещение предложений-конверсанта обусловлена порядком развертывания мысли и темарематическим членением пропозиционального содержания сложного предложения, при котором в информационный фокус попадает либо причина, либо следствие. В сложном предложении тема и рема выражаются не отдельными словами или группами слов, как в простом предложении, а целыми предикативными единицами, конструкциями, аналогичными простому предложению [Левицкий 2002, с. 153].

2. Конверсная пермутация может происходить и в рамках сложносочиненного предложения с помощью конверсных коннекторов – союзов *for*, *so* и союзных наречий *therefore*, *hence*, *then*, *thus*, например:

The windows were open, for it was hot \leftrightarrow *It was hot so the windows were open.*

3. Реализация конверсных причинно-следственных связей на уровне сложного предложения может также осуществляться через корреляцию сложносочиненного и сложноподчиненного предложений:

She asked me to go, so I went there \leftrightarrow *I went there because she asked me to go.*

В этом случае конверсное преобразование осуществляется с помощью конверсных союзов *so* и *because*, которые, в отличие от других конверсных частей речи, функционируют исключительно на уровне сложного предложения. Специфика названного конверсного преобразования состоит в том, что в результате синтаксической трансформации меняется тип сложного предложения при сохранении общего смысла передаваемой информации.

В английском языке, как и в других языках, различаются обратимые и необратимые сложные предложения; под обратимостью, близкой к понятию конверсности, понимается возможность взаимного обращения порядка компонентов сложного предложения [Левицкий 2002, с. 174–186].

Приведенное выше сложноподчиненное предложение *I went there because she asked me to go* может быть трансформировано двумя способами:

1. Являясь по определению обратимым предложением, оно преобразуется в *Because she asked me to go I went there*, которое также является сложноподчиненным; при этом подчинительный союз *because*, который всегда примыкает к «своему» придаточному предложению причины [Пешковский 1956, с. 464], перемещается вместе с ним.

2. Вторым возможным трансформом данного предложения будет сложносочиненное предложение *She asked me to go so I went there*, для построения которого требуется не только взаимная перестановка компонентов, но и замена подчинительного союза *because* на конверсный сочинительный союз *so*. Отметим, что полученное предложение не является обратимым в рамках сочинительной связи в отличие от своего сложноподчиненного коррелята. Союз *so*, как и синонимичные ему коннекторы *therefore*, *hence*, *thus*, не могут в силу своей семантики вводить структуру, обозначающую следствие, в том случае, когда при развертывании текста информация о следствии предшествует информации о причине.

Хотя оба синтаксических преобразования (как в рамках только подчинительной связи, так и в плоскости корреляции сочинения и подчинения) отвечают основным критериям конверсности, есть смысл разграничить данные типы КО на основе способа преобразования. В пределах коррелятивных структур с подчинительной связью имеет место, на наш взгляд, **конверсная перестановка**, в то время как в семантико-синтаксическом «перекрещивании» сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций уместно говорить о **конверсном обращении** (Термины «перестановка» и «обращение» заимствованы мною у Ю.А. Левицкого. – С.Д.).

Использование разнолексемных конверсных союзов в конверсном обращении относит этот тип синтаксического преобразования к классическим конверсным отношениям и придает ему ядерный статус на уровне сложного предложения, что обеспечивает доминантную позицию коррелятивных структур с данными конверсными союзами в конверсной парадигме, отражающей во всем своем комплексе структур конкретную причинно-следственную ситуацию реального мира.

Возможность «свертывания» одного из предикативных компонентов сложного предложения способом номинализации расширяет объём конверсной парадигмы за счет периферийных КС, разнообразных по структуре и семантике. В сложных предложениях с семантикой «причина-следствие» такого рода трансформации подвергаются преимущественно компоненты, обозначающие причину; при этом конверсный союз с семантикой причины заменяется на синонимичный предлог, например:

The children were there so I said nothing \leftrightarrow *I said nothing because the children were there* \leftrightarrow *I said nothing because of the children being there.*

В онтологической дихотомии «причина – следствие» примарность причины обусловлена тем, что она, во-первых, предшествует следствию во времени, и во-вторых, является необходимой предпосылкой или основой возникновения, изменения или развития следствия [Философский словарь 1986, с. 383]. Что касается языковых средств выражения причины и следствия, то лексико-грамматическое обеспечение выражения причины в английском языке богаче аналогичного арсенала для выражения следствия, что подтверждается данными тезауруса Роже [RTEWP 2000].

Семантика конверсных отношений на уровне сложного предложения в английском языке не ограничивается одной лишь причинно-следственной связью; конверсные преобразования возможны также в рамках условных, уступительных и темпоральных связей.

Конверсная репрезентация условных отношений состоит в корреляции двух типов сложного предложения – сложносочиненного и сложноподчиненного; соответственно конверсными коннекторами в данном случае выступают разделительный союз *or* и подчинительный союз *if*. В данном случае условие имплицитруется в семантике сложносочиненного предложения с разделительной связью [Кобрина 1999, с. 426], ср.:

Stop making so much noise or the neighbours will start complaining \leftrightarrow *The neighbours will start complaining if you do not stop making so much noise.*

Конверсное преобразование возможно также в рамках бинарного сложного синтаксического комплекса, в котором один из членов – сложносочиненное предложение с противительной связью, выраженной союзами *but*, *while*, *whereas* и союзными наречиями *however*, *yet*, *still*, *nevertheless*, трансформируется в сложноподчиненное предложение с придаточным уступки, вводимым союзами *though*, *although*, например:

I was in terrible pain after my fall but I carried on walking \leftrightarrow *I carried on walking though I was in terrible pain after my fall.*

The work was boring yet on the whole everyone was remarkably cheerful \leftrightarrow *On the whole everyone was remarkably cheerful though the work was boring.*

Другой структурно-семантический тип корреляции имеет место при передаче темпоральных отношений, когда сложносочиненное предложение преобразуется в сложноподчиненное предложение с помощью конверсных темпоральных союзов *before* и *after*, например:

*I arrived **after** he left ←→ He had left **before** I arrived.*

Возможность номинализации придаточных предложений времени расширяет объём конверсной парадигмы за счет периферийных конструкций, ср.:

*I arrived **after** his departure ←→ He left **before** my arrival.*

Таким образом, конверсные отношения между сложными предложениями в английском языке реализуются через корреляцию:

- 1) двух сложносочиненных предложений;
- 2) двух сложноподчиненных предложений;
- 3) сложносочиненного и сложноподчиненного предложений.

Данные ядерные типы конверсной корреляции могут синтаксически варьироваться, порождая периферийные конверсные структуры главным образом с помощью номинализации. Важную роль в подобных синтаксических преобразованиях играют конверсные союзы, бифункциональность которых позволяет не только связывать компоненты сложного предложения, но и имплицировать через свою семантику конверсную синтаксическую структуру.

С лингвокогнитивной точки зрения конверсные сложные предложения вербализуют сложный ситуационный фрейм, отражающий две ситуации реального мира, а также их взаимосвязь по линии одного из смысловых отношений (причины, уступки, условия и др.).

Выбор одного из членов конверсного бинорма связан с фокусировкой внимания не на отдельных участниках события, а на отдельной ситуации в целом. Данная фокусировка внимания, представляющая иной, более объёмный уровень перспективизации, осуществляется посредством конверсных союзов и определяет синтаксическую позицию и ранг компонентов сложного предложения. Отметим также, что в рамках каждого компонента сложного предложения, будь он главным, придаточным или функционально равноправным, имеет место перспективизация иного рода, при которой акцентируются отдельные участники или участки фрейма, отражающего одну ситуацию; её можно определить как «вложенную» перспективизацию.

Литература

1. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. – М., 1974 (2 изд.: М., 1995).
2. БЭС – Большой энциклопедический словарь. Языкознание. – М., 2000.
3. Власова Ю.Н. Синонимия синтаксических конструкций в современном английском языке. – Ростов-на-Дону, 1981.
4. Кобрин Н.А., Корнеева Е.А., Оссовская М.И., Гузеева К.А. Грамматика английского языка. Морфология. Синтаксис. – СПб., 1999.
5. Левицкий Ю.А. Основы теории синтаксиса. – М., 2002.
6. Фигуровская Г.Д. Обратимость и конструктивно-синтаксические поля предложений // Русский язык в школе. – 1996. – № 2.
7. Философский словарь. – М., 1986.
8. RTEWP – Roget's Thesaurus of English Words and Phrases. London: Penguin Books Ltd, 2000.

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

МОТИВ ПОКАЯНИЯ В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО («БЕДНЫЕ ЛЮДИ», «ХОЗЯЙКА»)

А.А. Бахаева

Ф.М. Достоевского, как писателя, глубоко и всесторонне занимавшегося вопросами веры, задумывающегося о сложной природе человеческой личности, интересовали обе ее крайности: не только человек падший, его греховная суть, но и возможность возрождения, которое осуществляется через покаяние. Нужно отметить, что покаяние может рассматриваться не только как богословская категория, но и как культурно-религиозный феномен, переосмысленный в литературном творчестве. Несомненно, что для русских писателей XIX века была актуальна христианская система ценностей и проблема покаяния существовала для них в реальной жизни. Но вместе с тем покаяние осмысливается ими и эстетически, приобретая новые смыслы в художественном произведении.

Покаяние функционирует как повествовательный мотив, имеющий определенную семиотическую структуру. Различаются истинное, ложное покаяние и покаяние, вынесенное за рамки произведения; формы покаяния: произносимое, внутреннее; виды пространственной реализации: открытое (Голгофа, площадь, дорога) или закрытое пространство (храм, дом); система мотивировок: присутствие чудесного, Божественного начала, ситуация отчуждения, неудовлетворенность собственным духовным состоянием, страх и т.д.; «ритуальные» жесты: коленопреклонение, целование (рук, ног, освященных предметов), их отсутствие либо пародийное их использование (например, неоднократное осквернение икон в романе «Бесы»). Присутствие в романах Евангельского текста, икон и предметов богослужения также часто актуализируют данный мотив. Возможность выявить «лексическое гнездо», образованное рядами слов, этимологически связанных со словом «покаяние»: «раскаяние», «отчаяние», «вина», «казнь», «окаянный», а

также синонимичным словом – «исповедь» – также позволяет рассматривать мотив покаяния как сюжетообразующий.

1. Структура мотива, представленная как функционально-семантическая иерархия его компонентов, может быть сконструирована на материале самых древних текстов мировой культуры (Евангелие, Покаянный канон Андрея Критского, памятники древнерусской литературы). Покаяние может рассматриваться в трех аспектах: как нравственная, нравственно-религиозная и нравственно-философская категория. Мотив покаяния является одним из ключевых в творчестве Ф.М. Достоевского, так как напрямую участвует в воплощении одного из главных сюжетов в творчестве писателя – «преступления и наказания». В нравственном смысле переход от преступления к наказанию часто осуществляется через покаяние. Проблема покаяния оказывается актуальной и в реальной жизни Достоевского. Вечный поиск, вечные сомнения в существовании Божьем приводили к постоянной необходимости покаяния. Но эти сомнения рождались «из глубин самого религиозного сознания, все они связаны с одной и той же темой – о взаимоотношении и связи Бога и мира» [Зеньковский 1999, с. 481].

Мотив покаяния в раннем творчестве писателя, казалось бы, лишенном глубокого религиозного содержания, существует прежде всего на уровне исповедальной манеры повествования и в отдельных элементах сюжета. Исповедальность ощутима в произведениях раннего творчества Достоевского, романе «Бедные люди» и повести «Двойник». Интерпретация повести «Хозяйка» – одного из самых загадочных произведений раннего Достоевского, – на наш взгляд, особенно плодотворна в аспекте выявления нарратологических стратегий. Повесть может быть рассмотрена в контексте покаянных мотивов, хотя в ней не используется форма повествования от первого лица, которая характерна именно для ранних произведений писателя. Повествование здесь строится от лица вымышленного героя, однако текст содержит в себе несколько потенциальных исповедей. Таким образом, автор создает повествовательную конструкцию «исповедь в исповеди».

Несомненно присутствие в романе «Бедные люди» «покаянных» слов (большинство из которых связано с глаголом ‘винить’ (29 употреблений) и лишь одна словоформа ‘покаялся’), но семантика покаяния в этом произведении менее актуальна, чем в других ранних произведениях писателя. Покаяние в первом романе – это скорее знак постоянной проверки на соответствие героем своей жизни, своих мыслей – Истине: *«Дожил до седых волос; греха за собою большого не знаю. Конечно, кто же в малом не грешен? Всякий грешен, и даже вы грешны, маточка! Но в больших проступках и продерзостях никогда не замечен <...> Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем, – каков уж он там ни*

есть, – жить водой не замутя, по половице, никого не трогая, зная страх божий да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались да не подсмотрели...» [I: 62]¹. Несомненно, что при всей смирности и «блаженности» Макара Девушкина он проявляет свои амбиции: в условиях психологической и социальной несвободы формы проявления человеческого достоинства приобретают судорожные формы, гордость становится гордыней. Поэтому и возникает непрекращающийся внутренний диалог героя с Богом: «...иду-иду да все думаю: “Господи! прости, дескать, мои согрешения и пошли исполнение желаний”. Мимо -ской церкви прошел, перекрестился, во всех грехах покался да вспомнил, что недостойно мне с господом богом уговариваться» [I: 77]; «Я со слезами на глазах вчера каялся перед Господом Богом, чтобы простил мне Господь все грехи мои в это грустное время: ропот, либеральные мысли, дебош и азарт. Об вас вспоминал с умилением в молитве» [I: 96]. И лишь единожды в душу Девушкина закрадывается серьезный ропот против несправедливости мироустройства: «Отчего вы, Варенька, такая несчастная? Ангельчик мой! да чем же вы-то хуже их всех? <...> Грешно, маточка, оно грешно так думать, да тут поневоле как-то грех в душу лезет. Ездили бы и вы в карете такой же, родная моя, ясочка» [I: 86]. Эта мечта его вскоре и вправду исполняется, но мир от этого не становится лучше.

Важен и тот факт, что именно в повести «Хозяйка» впервые в творчестве Достоевского появляется сакральное пространство храма, свидетельствующее о наличии религиозно-философской проблематики. В «Бедных людях» тоже неоднократно упоминаются церковные богослужения, храм, но ни разу героев мы не увидим внутри. В повести «Хозяйка» покаянные мотивы раскрываются по преимуществу в аспекте национального, и пространство храма становится сюжетобразующим фактором.

2. Несомненно, что изначальные ожидания исповеди связаны с образом интеллигента Ордынова, который с самого начала находится в «ситуации порога», имеющей глубокий символично-метафорический смысл, и меняет квартиру. Действительно, у него начинается процесс переосмысления собственной жизни. «Ему вдруг пришло в голову, что всю жизнь свою он был одинок, что никто не любил его, да и ему никого не удавалось любить» [I: 267]. Но исповеди мы так и не услышим, и это происходит не оттого, что у Ордынова каменное сердце и он не способен

¹ Здесь и далее сочинения Ф.М. Достоевского цитируются по Полному собранию сочинений в 30 т (Л.: Наука, 1972–1990). В тексте статьи в квадратных скобках римской цифрой обозначается номер тома, арабской после двоеточия – номер страницы.

осознать себя в системе нравственно-религиозных ценностей, а оттого что проблема покаяния, как и другие проблемы, актуализированные в повести «Хозяйка», включены в более глобальную проблематику «исследования фундаментальных исторических конфликтов» [Дилакторская]. Прежде всего это раскол между интеллигенцией, культурным слоем страны, превратившимся в «русских европейцев», космополитов, и народом, который оказывается носителем религиозного сознания, хранителем исконно национальных традиций. Мотив покаяния в повести актуализируется в связи с проблемой национального. И Ордынов, и Мурин, и Катерина «вырастают до размеров философско-исторических символов». Он из чужой Мурину и Катерине среды, герой никак себя не идентифицирует с национальным, с русским, тогда как героиня вся пропитана национальным духом, сказками, притчами, наделена особой языковой культурой («*Люб иль не люб ты пришелся мне, знать, не мне про то знать, а, верно, другой какой неразумной, бесстыжей, что светлицу свою девичью в темную ночь опозорила, за смертный грех душу свою продала да сердца своего не сдержала безумного...*» [I: 298]). В эпоху кризиса христианства носителем Православия, носителем истинного религиозного сознания, по глубокому убеждению Достоевского, оказывается народ. Православная традиция, гармонично ужившаяся с языческим прошлым, становится одной из главных черт русского этноса. Таким образом, Ордынов не включен в покаянную, религиозную проблематику. Лишенный национального и психологического опыта, тяготеющий к западной культуре, он оказывается лишен и религиозного самосознания.

Религиозность в повести дается с точки зрения народа, а не главного героя. Несомненно, с образом Катерины связан мотив исповеди: она приходит для молитвы в храм, с ней связаны многочисленные ситуации коленопреклонения, и в повествовательном отношении ее рассказ о своей жизни от первого лица можно было бы назвать «покаянным текстом». Однако и Катерина не так однозначна – сам Ордынов пугается многоликости своей возлюбленной. «*И то слышался ему последний стон безвыходно замершего в страсти сердца, то радость воли и духа, разбившего цепи свои и устремившегося светло и свободно в неисходное море невозбранной любви; то слышалась первая клятва любовницы с благоуханным стыдом за первую краску в лице, с молениями, со слезами, с таинственным, робким шепотом; то желание вакханки, гордое и радостное силой своей...*» [I: 303]. Образ Катерины глубоко противоречив. В ней есть и истинное покаяние и глубочайшие душевные страдания от содеянного ею. О.Г. Дилакторская в статье «Скопцы и скопчество в изображении Достоевского (К истолкованию повести “Хозяйка”）」 находит

черты, явно сближающие ее с Образом Богородицы. На присутствие Богородичных мотивов указывают и цвета, доминирующие в облике Катерины, когда она впервые появляется в повести – белый и голубой («*На ней была богатая, голубая, подбитая мехом шубейка, а голова покрыта белым атласным платком*» [I: 268]). Но в ее страданиях и терзаниях совести есть и некоторая фальшь, ставящая под сомнение искренность ее слов, во-первых, потому, что чувство личной вины часто у Катерины возникает из-за страха перед Муриным. Под его давлением у героини возникают покаянные чувства («*Он говорит, – шептала она сдерживаемым, таинственным голосом, – что когда умрет, то придет за моей грешной душой... <...> Он говорит, что я сделала смертный грех...*» [I: 293]). Во-вторых, есть в ней осознание греха, но нет стремления изменить свою жизнь, если понимать покаяние как «некое внутреннее изменение личности, когда она из одного нравственного состояния переходит в принципиально новое» [Свешников 2000, с. 154.] («*Что мне до того, что продалась я нечистому и душу мою отдала погубителю, за счастье вечный грех понесла! Ах, не в том мое горе, хоть и на этом велика погибель моя! А то мне горько и рвет мне сердце <...> что позор и стыд мой самой, бесстыдной, мне люб <...> что любо жадному сердцу и вспоминать свое горе, словно радость и счастье, - в том горе, что нет силы в нем и нет гнева за обиду свою!..*» [I: 299]).

В том, что нет в ней покаяния истинного, она и сама знает, но нет в ней и того сарказма и насмешки по поводу содеянного, которые будут позже присутствовать в Николае Ставрогине. Уйдя с Муриным, она выбрала личное эгоистичное счастье. Но, утратив Бога, она не утратила чувства вины и греха. Ставрогин – представитель культурного слоя, «великий грешник», не отрекшийся от Бога, а растоптавший Бога в себе. В Катерине же ещё очень крепко живет народное ощущение Бога. Достоевский не раз подчеркивал крепость веры в народе и особую значимость в его мирозерцании образа Христа: «*Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно так, но Христа он знает и носит его в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего. Повторю: можно очень много знать бессознательно*» [XXI: 38].

Катерина и интересна своей противоречивостью: в ней и народная стихийность, и психологически точная осознанность своей вины, жизнь в грехе, и стремление вырваться из-под власти темных сил. Повесть «Хозяйка» характеризуется установкой на воплощение архетипов, Достоевский активно использует многочисленные фольклорные жанры (сказки, разбойничьи песни, былины), воссоздает один из древнейших сюжетов, продуктивный как в культуре язычества, так и пришедшей на смену христианской культуре – противостояние света и тьмы, мира реального и мира духовного, священного и inferнального.

С символично-метафорической точки зрения главным героем повести является Илья Мурин, который выступает в роли подлинного «хозяина» души Катерины и того мира, в который попадает Ордын. В повести существует два принципиально противоположных пространства: сакральное – храм – и пространство inferнального – дом Мурина. Между миром света (храмом) и мистическим миром Мурина (домом) «распята» Катерина. Илья Мурин, бесспорно, фигура аллегорическая, но он не являет собой абсолютное зло. О сложности этого образа говорит и этимология его фамилии, подробный анализ которой дает О.Г. Дилакторская, указывая, что, с одной стороны, корни фамилии отсылают нас к мотивам бесовства, т.к. «она происходит от слова *мурин* (по Далю, 'бес, негр')», но, с другой – к образу Православного Святого – преподобного Моисея Мурина – и к былинному образу Ильи Муромца. И, наконец, он вместе с Катериной приходит в церковь, а значит, для него не закрыто сакральное пространство храма. Однако тот факт, что герои приходят в храм лишь под покровом вечера (*«вдруг понесся густой гул колоколов, сзывавших к вечернему богослужению»* [I: 270]), свидетельствует о доминанте темного в их сущности. Мурин не абсолютный злодей. Извратив представление о добре и зле, предавшись грехам, он всё равно стремится к Богу. Катерина тоже обладает извращенным сознанием, но она страдает за свое «страшное преступление», о чем свидетельствуют и многочисленные знаковые сцены слезной молитвы и коленопреклонения (8 сцен), в которых не участвует Мурин, если не считать театрализованные поклоны в доме Ярослава Ильича и поклон в храме на четыре стороны, имеющий, на наш взгляд, языческие корни.

Ф.М. Достоевский – один из тех писателей, кто, несомненно, ощущал кризис христианства, поэтому нигде в его творчестве мы не увидим структурного единства в изображении мотива покаяния. Покаяние у него становится только рудиментом целостного обряда. В романе «Бедные люди» этот мотив лишь намечен и реализован прежде всего через исповедальную манеру повествования. В повести «Хозяйка» мотив

покаяния реализуется на уровне осмысления проблемы национального. В целом же в раннем творчестве Достоевского структурные элементы мотива покаяния разрозненны, однако именно они семантически углубляют текст писателя, воплощая архетипы, существенные для национального самосознания.

Литература

1. Даль В. Толковый словарь: В 4 т. – М., 1991. – Т. IV.
2. Дилакторская О.Г. Скопцы и скопчество в изображении Достоевского (к истолкованию повести «Хозяйка») // [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: <http://www.rvb.ru/philologica/>.
3. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х т. – Ростов-на-Дону, 1999. – Т. 1.
4. Прот. Владислав (Свешников). Очерки христианской этики. – М., 2000.

ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ: ЭТНИЧЕСКАЯ ПЕРСОНФИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЦИКЛОВ В ДРЕВНЕГЕРМАНСКОЙ МИФОПОЭТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МИРА

Е.В. Соснин

Наиболее впечатляющим образом древнегерманской мифологии, выявляемым на уровне лексики и закрепленным в поэтических текстах, представляется **образ Мира как растущего во времени гигантского организма**, что позволяет обозначить **микромотив «время – растение»**, в котором также пересекаются идеи **цикличности** и **антропоморфности**. Речь идет прежде всего об и.-е. **al* – «расти, выращивать, питать» при гот. *alan* «расти», *alds* «человеческий возраст, время, а „ип, Ъ...ој“», др.-англ. *alan* «питать», *ield* «возраст, время». Идея **роста** подразумевает **процветание и изобилие**, что хорошо укладывается в схему сельскохозяйственных циклов, формирующих **циклический образ Времени** (сезоны, времена года) и ассоциируется с **микромотивом «Остров – земной рай»**. При этом семантически и.-е. **al* явно переплетается с уже упомянутым и.-е. **ten-*, обозначавшим время, от которого, наряду с лат. *tempus*, образовались и гот. *þeihan* «процветать», др.-англ. *gedēon*, др.-в.-нем. *gidīhan*, а также гот. *þeihs* «время» и др.-англ. *þing*, др.-в.-нем. *Ding* [Топорова 1994, с. 39–40]. Показательно, что последние два слова означают еще и народное собрание (совр. англ. *thing*

из др.-исл. *þing* «volksversammlung» и нем. *das Ding*). Нетрудно заметить, что семантика и.-е. **al* и его германских рефлексов включает в себя идею **неразрывного единства Природы (Мира), Времени и Человека**, то есть идею **антропоморфного Космоса**, причем Космос этот отнюдь не статичен, он развивается, растет, в нем сменяются поколения живущих, меняются эпохи. «Символическая репрезентация мира в виде растущего организма не является случайной, поскольку ориентируется на древнегерманскую культурную модель мира; «мировое дерево», представление о растительном происхождении человека и т.д. Это развитие, как образ вечного обновления, скорее всего, и было тем субстратом, на котором сформировалось понятие мира» [Проскурин 1999, с. 79]. От себя добавим, что данная «репрезентация» мира не является случайной просто потому, что древние германцы, как и прочие народы древности, жили и трудились в природе, не отделяя себя от нее. Да и само время у представителей аграрных культур измерялось сельскохозяйственными циклами, на что указывают не только и.-е. **al* и **ten-*, но и **jēro-* / **jōro-* / **jero-* с рефлексами: общегерм. **jēr* (нем. *Jahr*, англ. *year*) «урожай», слав. **jarь* «весенний, яровой», греч. *ἴρα* «пора; время года», авест. *yāre* «год», а также **dhel-* «цвести, зеленеть» с рефлексами: гот. *dulþs* «весенний праздник плодородия, пасха» при др.-исл. *dallr* «arbor prolifera» и греч. *q̄llw* «распускаться, цвести», *q̄alus..a* «праздник сбора урожая» [Топорова 1994, с. 112-113]. Кстати, Т.В. Топорова предполагает генетическую связь и.-е. **dhel-* «дуга» (гот. *dulþs*) и **dhel-* / **dhal-* «зеленеть» (греч. *q̄llw*), что также подчеркивает цикличность Времени, его связь с сельскохозяйственными работами, и типологически сходно с семантикой производных и.-е. **kwel-* «возвращаться»: др.-инд. *karṣu-* «борозда, место поворота плуга», *kālá* «время», сербск. *чело* «день» [Там же]. Последний пример примечателен тем, что позволяет по-новому взглянуть на первый компонент русск. *чело-век*, возводимый либо к и.-е. **kwel-* «род, клан, стая, рой, толпа», откуда русск. *колена* / *поколение*, *челядь*, ирл. *clan* и др. [Черных 1994], либо к и.-е. **kai-lo* «целый» [Фасмер 1986-1987]. Если предположить генетическое родство и.-е. **kwel-* «род» и **kwel-* «возвращаться» при соотношении второго компонента с и.-е. **weik-* «жизненная сила» и **weik-* «расчленять», которое Т.В. Топорова сближает с **wei-* «сплестать» / **weit-* «вращать», обозначающими пространственно-временные элементы [Топорова 1994, с. 30-31], то рус. чело-век можно перевести как «вращающийся во времени», причем первая часть (**kwel-*) репрезентирует Время как цикл, а вторая (**weik-*) – как рост. И хотя сема «растительность» в последнем корне не просматривается, она может быть реконструирована по древнеисландскому *haraх legomenon – ī vīði* (akk. pl.)

в «Пророчиании Вельвы», где оно трактуется как «корни» дерева Игдрасиль и соотносится с др.-исл. *heima* «мир» [Топорова 1994, с. 31].

В любом случае, рус. *человек* в такой интерпретации соотносится с ключевой германской лексемой, воплощающей идею антропоморфного космоса, **wer- althi*, особенно если учесть попытку возвести первый компонент к и.-е. **wer-* «вращаться» [Danielsen 1963, с. 101–106]. И, хотя Н. Даниельсен выводит совсем другую праформу – **wer-lo-ti* «совокупность вращающихся предметов» [Там же], сближение **wer-* «человек» и **wer-* «вращаться» весьма правдоподобна в свете **kwel-* «род» и **kwel-* «вращаться». А идея «совместимости» (собирательности), заложенная в **kwel-*, вполне может подразумеваться и в **wer-*. «Weorold... целесообразно толковать в собирательном значении, как совокупность существ и вещей, существующих в мире» [Проскурин 1999, с. 79]. Интересно, что рефлексом этого корня в русском является само слово *время*, этимологически родственное лит. *varštas* «поворот плуга» и лат. *versus* «борозда».

Представления о Времени как о совокупности существ и вещей в мире характерны не только для индоевропейской традиции с ее явной антропоморфизацией пространственно-временного континуума. Так, например, у вавилонян «время воспринималось не как абстрактная длительность, а в неразрывной связи с потоком событий, **их участников, всей цепью поколений** (выделено нами – Е.С.), и возможно, даже местом действия...» [Клочков 1983, с. 13–14]. Подтверждением тому является др.-евр. *thôlēdhôth* (pl.fem.) «Zeugungen; Geschlechter; geschlechtsgeschichte», которое встречается не только при перечислении родословных Книги Бытия (Быт. 5:1; 10:1; 11:10; 11:27; 25:12; 19; 36:1; 37:2), но и при описании сотворения неба и земли: *ēlleh thôlēdhôth hāshshāmaim wehā'arets* «Вот (букв.) родословная неба и земли» (Быт. 2:4). То же обнаруживается в третьей самобытной и неродственной предыдущим традиции – китайской. По свидетельству замечательного историка-востоковеда, специалиста по духовной культуре и истории стран Восточной Азии А.А. Маслова, история в Китае, соотносясь в большей степени с мифом, «понимается как след деяний великих предков. Это могли быть деяния конкретных предков рода, семьи или клана, либо деяния великих первopедков Китая... Она священный проводник, данный в виде деяний великих правителей, первopедков и выдающихся людей» [Маслов 2003, с. 10–11]. Кроме того, присутствовала в этом и идея цикличности времени, ибо «история понималась как поучительный спектакль на фоне «вечного возвращения к исходному порядку как путь – Дао, который, трансформируясь, может воплотиться лишь сам в себя» [Там же, с. 12]. Данная идея полностью совпадает с идеей круговорота мира в

древнегерманской традиции [Проскурин 1999, с. 79]. Весьма показательно, что круговорот времен в понимании М.А. Барга означает «отсутствие истинного будущего» [Там же, с. 80], то есть, принципиальную ориентированность на прошлое. Маслов отмечает, что в китайском восприятии « существует лишь абсолютное прошлое – некое магическое пространство, наполненное духами предков, с которыми через канал, именуемый «историей», следует установить связь» [Маслов 2003, с. 13]. Таким образом, **пространственно временной синкретизм, цикличность времени, а также его антропоморфизм и ориентированность на прошлое является мифопоэтической универсалией**, что весьма ценно для реконструкции древнегерманских представлений.

Отсюда же вытекают космологичность и **операционность** определения окружающих предметов, повышенное внимание к вопросу «**Как сделано? Как произошло?**». При этом для **понимания цикличности времени** гораздо важнее указать не на «отсутствие истинно будущего», а на «**присутствие прецедента**», то есть некой **идеальной точки в пространственно-временном континууме, некоего идеального состояния, которое постоянно воспроизводится в последующих событиях, «эмануруется»** [Успенский 1997, с. 84.]. Особенно интересным в связи с нашей темой является замечание Ю.М. Лотмана по поводу выражения «звонячи въ прадльднюю славу» из «Слова о Полку Игореве». Ю.М. Лотман пишет: «Лежащие в основе миропорядка «первые» события не переходят в призрачное бытие воспоминаний – они существуют в своей реальности вечно. Каждое новое событие такого рода... представляет **обновление и рост** (выделено нами – Е.С.) этого вечного «столбового» события... славные дела лишь оживляют вечно существующую, и единственно реальную «первую славу», звонят в нее, как в колокол, которые имеет реальное бытие и тогда, когда молчит... для того, чтобы вечный колокол прадедовской славы звенел, необходимы героические дела правнуков» [Лотман 2001, с. 356–357]. Таким образом, **абстрактная антропоморфность модели мира становится конкретным мифопоэтическим образом предков, обновляющихся в своих потомках** – образ, известный многим традициям. Интересно, что в «Слове о Полку Игореве др.-рус. дльдь и вьноукъ с одной стороны обозначают любых предков и потомков, в том числе и Богов (Дажьбожь внук, внуки Стрибога), а с другой являются знаками эпох, разделенных двумя поколениями – веков [Гаспаров 2000, с. 248]. **Подобное родство Людей и Богов – характерная черта антропоморфной мифопоэтической модели мира, и присутствует она во всех древних традициях.** Так, например, лат. *prō-geniēs* «потомки» и греч. *pro-gen»j* «предки» в своей первой

части восходят к и.-е. **per-* / **por-* «граница, предел», от которого произошло греч. *PTroj* «древнейший их Богов», а так же русск. *пора* и *опора*, сплетающие воедино Людей и Богов, Пространство и Время [Иванов – Топоров 1978, с. 236–237]. Обращает на себя внимание временная разнонаправленность значений, при идентичности формы («предрожденные – предки / потомки»), что характерно для циклического времени. Вторая часть, *geniēs - gen»j*, родственная лат. *gēns* (*gšnoj*) «родовая община» и *genius* «гений, дух». Еще более показательна в этом плане Ветхозаветная мифология, где основное название Богов, *‘ēlohīm*, буквально означает «находящиеся впереди, предшествующие» и в Ветхом Завете встречается в значениях «предки», «лидеры», «ангелы» и «боги». В том числе и Боги творения [Быт. 1:1, подробнее см. Тантлевский 2000, с. 358].

Возвращаясь к древнегерманской традиции, можно с уверенностью сказать, что подобные представления были характерны и для нее. Примером кровного родства различных антропоморфных обитателей мира **wer-althi* являются **Тулы – список имен в хронологической и генеалогической последовательности, завершающийся именем германского бога Водена**. «Композиция Тулы строится на идее цикла, определяемого длительностью человеческой жизни, совокупность последних образует большой цикл, равный эпохе или *veröld / weoröld*» [Проскурин 1999, с. 77]. На возможность трактовки герм. **althi* как эпохи, периода, соотносимого с поколением людей **wer-*, указывают древнеисландские контексты. Так, при описании Рагнарека, Вельва говорит:

Hart er í heimi, hórdómr mikkil,
sceggöld, scálmöld, scildir ro klofnir,
vindöld, vargöld, áðr veröld steypiz;
Vsp. 45:5-9.

Тягостно в мире, великий блуд,
век мечей и секир, треснут щиты,
век бурь и волков до гибели мира;
пер. А. Корсуна.

Здесь ряд *sceggöld - scálmöld - vindöld - vargöld - veröld* можно рассматривать как синонимичный, и тогда *ver-öld* будет обозначать не мир вообще, а **Мир перед Концом, то есть Последнюю Эпоху Людей**.

Сколько же было этих эпох в мифопоэтической истории Мира и какой этнический компонент соответствовал каждой эпохе? Отправной точкой такой реконструкции является отрывок из «Даниила»,

проанализированный С.Г. Проскуриным: *sipþan tō reste gehwearf ġīce þeōden, cōm on sefan hwurfan swefnes wōma, hū woruld wāre wundraum getēōd, ungelīc yldum oþ edscēäfte* [Dan. 108–11] «как на отдых отправился правитель царства, пришел на ум во сне голос того, кто мир сотворил удивительным образом, не похожий на тот, что был у предков до нового творения». С.Г. Проскурин по этому поводу пишет: «В этом предложении просматриваются черты двойственной семантики: языческой и христианской. Мир мыслится сотворенным дважды. Начало этого мира во времени противопоставлено миру прошлому, слово *werold* как обозначение поколения людей в мире соотносится с поколением «до творения» – поколением *yldum*». [Проскурин 1999, с. 30]. Таким образом, перед нами **две эпохи**, каждая из которых репрезентируется особым **поколением: эпоха до нового творения** (*ylde* N.pl. «люди») и **эпоха после Нового творения** (*woruld*). Нетрудно заметить, что **эпоха до Нового творения** (то есть, до прихода христианства) – это **мифологическая эпоха идеализированного прошлого, где властвует циклическое время, и обитают божественные предки**, что подтверждается этимологически и контекстуально. Так, др.-англ. *ylde* (*elde, ielde*) представляет собой N. pl. m. f. от прилагательного *eald* «old, ancient, vetus, aetate provector, priscus, antiquus; eminent, great, exalted, eminens, exselsus», восходящего к и.-е. **al-* «расти». В лексическом значении этого прилагательного примечателен компонент *priscus* «прадедовский, патриархальный». Кроме того, как существительное *eald* могло обозначать старших в роду, ср., например, *geondum ond ealdum* (Dat. Pl.), в точности соответствующее русск. *стар и млад* [Вео. 72], а форма сравнительной степени *ieldran* в Предисловии Альфреда к «Обязанностям пастыря» прямо переводится как «ancestors», причем интересен контекст этой формы: *ūre ieldran, ðā ðe ðas stōwa ær hīōldon, hīe lufodon wisdom ond ðurh ðone hīe begēaton welan ond ūs lāefdon...* «наши предки, населявшие ранее эту землю, любили мудрость, и тем нажили богатства, которые ставили нам» [Alfred's preface 32–34, цит. по: Sweet 1928]. Здесь выражение *ūre ieldran, ðā ðe ðas stōwa ær hīōldon*, вернее, его ключевые точки *ieldran... ær* этимологически соотносятся с др.-исл. формулой *ár var alda* “fruh in den zeitalten”, встречающейся в «Прорицании Вельвы» [Vsp. 3:1] и в «Первой песни о Хельги, убийце Хундинга [НН. 1:1]. Что неслучайно, ибо Хельги «близок мифологическому типу «предка», «родоначальника»... О. Хефлер в поисках ритуальных истоков сказания о Хельги предполагает, что Хельги – культовое имя жертвы в древнегерманском религиозном центре, описанном Тацитом [«Германия», с. 39]; возлюбленная Хельги – жрица, руководящая жертвоприношениями, а убийство Хельги, совершаемое

копьем Одина, символизирует обновление королевской власти при посредстве ритуальной жертвы» [Мифы народов мира 1992, с. 588]. Др.-англ. *ieldran* по форме и по смыслу близко другое производное от и.-е. корня **al-*, др.-англ. *ealdor* (*aldor*) со значениями «I. An elder, parent, head of a family, author; II. An elder, chief, governor, prince» [Bosworth – Toller 1954–1955], родственное др.-сакс. *aldro* «ancestor» (pl. *eldiron* «parents»), др.-фриз. *alder* «parent» и другим германским словам со сходным значением. В «Церковной истории Англов» Беда Достопочтенного слово *ealdor* поясняется выражением *þā érestan menn* «primi parentes nostri» [Bd. 1, 27], где *érest* – превосходная степень от *ær*, и таким образом *ūre ealdras* можно перевести как «предки, пралюди».

Концептуально связь этих пралюдей-предков (*ylde*, *elde*, *ieldran*, *ealdras*) с языческой, мифологической эпохой, подмеченная С.Г. Проскуриным, доказывается тем фактом, что само **слово чаще встречается в поэтических памятниках**, таких, как «Беовульф», «Морестранник», «Скиталец», **тяготеющих к языческой символике**, а противопоставленное ему *woruld* употребляется в **религиозных текстах**, например, в «Blickling homilies». Причем в поэтическом контексте, повествующем о героических временах прошлого, др.-англ. *ylde* означает просто «люди», подчеркивая соотнесенность эпохи и ее обитателей, а в контексте религиозном, как, например, у Беда или Альфреда, оно постоянно сопровождается уточнениями вроде *ðā ðe ðas stōwa ær hīōldon*, или *þā érestan menn*, что подчеркивает временной разрыв между *ylde* и эпохой. (Ср. в поэме «Даниил» *ylde of edscēāfte* «люди до второго творения, предки»). Особенно интересен в этом плане отрывок из поэмы «скиталец»:

Yrde swā þisne eardgeard ælda scyppend
 Opþæt burgwara breahntma lease
 Eald enta geweorc ūdu stōdon.
 The Wanderer, 85–87.

опустошил создатель Людей это место
 и стоит оно без жителей и без шума людского,
 древняя работа гигантов.

(перевод наш – Е.С.)

Здесь *ælda scyppend* явно соотносится с *eald geweorc*, а упоминание великанов (*entas*) намекает на древние, доисторические времена, хорошо известные из книги Бытия: *hannephilīm hāyū bhā'ārets bāyūāmīm...hēmmā haggiborīm 'āsher mē'ōlom 'aneshē hashshēm* «В то время были на земле исполины... это сильные, издревле славные люди» [Быт. 6:4]. Согласно

контексту гиганты были детьми Богов (*benê hā'ēlôhîm*) и смертных женщин (*benôth hā'ādhām*), но при этом назвались Людьми (*hashshêm*), то есть, они соответствуют др.-греч. героям. Библейские параллели отчетливо звучат в «Беовульфе», где используется слово *gigantas*, заимствованное из Вульгаты, но обозначающее уже потомков Каина (*Caines synn*) [Вео. 107], наряду с великанами (*eotenas*), эльфами (*ylfe*) и злыми духами (*orcneas*). Перед нами явный пример двоеверного текста, где образы семитской (*hannephilîm, haggiborîm 'aneshê hashshêm*) и германской (*eotenas, ylfe, orcneas*) мифологии интерпретируются в духе новой религии как падшие ангелы и потомки Каина.

Учитывая все это, можно сказать, что др.-англ. *ylde* в отрывке из «Скитальца» соотносится с *entas*, как *ylfe* с *eotenas* (сходство усиливается совпадением форм *ylde* и *ylfe*, оба слова склоняются по парадигме основ на *i, куда входят немногочисленные названия племен и народов, вроде *Dene* (Даны), *Engle* (англы) и *lēōde* «люди», и этимологическим родством *ent* и *eoten*, восходящим к и.-е. *ed-, откуда др.-исл. *jötunn* «великаны, первые обитатели мира и др.-евр. *hashshêm hannephilîm*). И вот здесь необходимо вернуться к древнеисландскому материалу.

В уже упоминавшейся формуле *ár var alda* слово *alda* – это G. pl. от др.-исл. *öld*, которое Некель определяет в данном контексте как “menschenalter” [Neckel 1936]. Саму же формулу он переводит как “in der reihe der menschenalter”, явно повторяя др.-евр. *thólēdhôth*, тем более, что оба слова женского рода. Но при чтении Прорицания Вельвы в таком ключе возникает бессмыслица:

Ár var alda,	þat er Ymir bygði,
vara sandr né sær	né svalar unnir;
jörð fannz æva	né upphimmin,
gap var ginnunga,	en gras hvergi.

Vsp. 3:1-8.

То есть ничего не было, а люди уже были (Снорри Стурлусон усиливает эту бессмыслицу, заменяя во второй строке *Ymir bygði* на *essi var* «ничего не было»). Но смысл появляется, если мы предположим, что др.-исл. *öld* (pl. *aldir*) соотносится с др.-исл. *jötunn* (pl. *jötnar*) в предыдущей строфе:

Es man jötna,	ár um borna
---------------	-------------

Vsp. 2:1-2.

Йотуны – древнейшие обитатели Мира, и древнейший из них, Имир, манифестирует собой само мироздание. Более того, они являются древнейшими Богами, на что указывает вопрос Одина в «речах

Вафтруднира»: *hvert ása elztr / eða Ýmis niðia / yrði í árdaga* [Vm. 28: 4–6] «Кто в начале времен был старшим из асов и родичей Имира?». Вафтруднир называет Аургельмира, именуя его дедом (*afi*) и предком (*fyrst* «ursprunglich»), причем выражение *ása elztr eða yrði* и *com með iötna sonom fyrst* в данном контексте переводится одинаково: «был первым из асов (йотунов)». Отождествление становится еще более очевидным, если учесть, что С. Буге приводит вариант, где слово *ása* заменено на *iötna* [Neckel 1936, сноски разночтений]. Таким образом, др.-исл. *öld* (pl. *aldir*) ассоциируется с поколениями Богов, творивших Мир в мифологическую эпоху (*ár / ár alda / ár daga*). Примечательно, что *öld* в некоторых местах Старшей Эдды может прямо переводиться как «Боги», например, в песне «Перебранка Локки», где Один говорит о Гевьон, что *aldar ørlög / hygg... hon öll um víti* [Ls. 21:4–5]. «...ей открыты и ясны судьбы всех сущих...» и в «Речах Вафтруднира», где великан, говорит о Бальдре: *í aldar rök hann mun artr koma* «вернется он в конце мира» [Vm. 39: 4–5].

И наконец, использование формулы *ár var alda* в «Первой песни о Хельги» наводит мост, связывающий Мир Богов и Мир Героев:

Ár var alda, þat er arar gullo,
hnigo heilog vötn af Himinfiöllum;
НН. 1: 1–4

В давние дни орлы клекотали,
падали воды со склонов Химинфьелль.
[Пер. А. Корсуна]

Отсылка к Небесным горам (*Himinfiöll*) и священным водам (*heilog vötn*), а также значение имени Хельги (от *heilagr* «священный») и его функции, сближающие с Бальдром, устанавливают **преемственность поколений Богов и Героев, их родство**, и недаром сама Старшая Эдда начинается возванием Вельвы, обращенным ко всем живущим: *Þíiðs bið es allar helgar kindir* «Внимайте мне все священные роды» [Vsp. 1: 1–2].

Итак, мы можем сделать вывод, что для древнегерманской мифопоэтической модели мира было характерно наличие трех периодов времени, или трех эпох, воплощенных в трех поколениях антропоморфных существ, населявших мифическую вселенную:

1. **Предначальная эпоха**, др.-исл. *ár* (*ár alda, ár daga*), др.-англ. *ær*, гот. *air*, населенная Богами (в самом широком смысле – творцами нашего Мира), др.-исл. *iötmar, ásir, aldir*, др.-англ. *þā ærestan menn, ieldran*.

2. **Эпоха до Нового творения**, др.-исл. *öld* др.-англ. *eald*, населенная героями (либо Второе поколение Богов, либо особые существа – Эльфы,

занимающие промежуточное положение между Богами и Людьюми, либо Пралюди, Предки), др.-исл. *aldir*, др.-англ. *ylde* (*ylfe*, *elde*, *ielde*).

3. **Эпоха Нового творения**, др.-исл. *veröld* (*vargöld*, *vindöld*, *scalmöld*, *sceggöld*), др.-англ. *woruld*, населенная Людьюми современного типа.

Обращает на себя внимание **иконичность номинации этих Эпох**: др.-исл. *ár alda – öld – veröld*, причем промежуточная эпоха «пралюдей» выступает своего рода связующим звеном между миром Богов и Миром обычных людей, так как, с одной стороны, **Первая и Вторая Эпохи объединяются общим принципом номинации поколений – формы множественного числа** (др.-исл. *ása elztr, iöttna sonom fyrst, ár alda*, которая наряду с *ár daga* называет и саму эпоху, ср. др.-англ. *in gēār-dagum, éor... þā érestan menn, ylde, ylfe*) в противоположность собирательной форме *veröld, woruld*, **называющей и третью Эпоху, и ее поколение одновременно**, а с другой стороны **исходная форма *öld, eald* включена в номинацию третьей Эпохи, подчеркивая преемственность поколений**.

Подобная ситуация, на наш взгляд, обусловлена тем, что **древние германцы, отождествляя себя с поколением **wer-althi*, плохо различали Богов, Духов и Первопредков**, о чем говорилось выше, но смутно чувствовали это различие, что и предопределяло выбор форм множественного числа. Такая же картина наблюдается и в текстах Ветхого Завета, где *hā'ēlōhîm, hashshêm* и *hannephilîm* (мн. ч.) противопоставлены *hā'ādhām* (собирательная форма).

Литература

1. Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве». – М., 2000.
2. Иванов В.П., Топоров В.Н. О языке древнего славянского права // Славянское языкознание. VIII междунар. Съезд славистов. Доклады советской делегации. – М., 1978.
3. Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. – М., 1983.
4. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2001.
5. Маслов А.А., Китай: колокольца в пыли. – М., 2003.
6. Мифы народов мира. – М., 1992. Т. 1–2.
7. Проскурин С.Г. Концептуальные системы в индоевропейских языках и культуре: Дисс. ... д-ра филол. наук. – М., 1999.
8. Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. – М., 2000.
9. Топорова Т.В. Семантическая структура древнегерманской модели мира. – М., 1994.
10. Успенский Б. А. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва – третий Рим» // Избранные труды. – М., 1997. – Т. 1.
11. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М., 1986-1987. – Т. 1–4.

12. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. – М., 1994.
13. Bosworth J. Toller J.N. An Anglo-Saxon dictionary. Oxford, 1954-1955. Vol. 1,2.
14. Danielsen N. Versuch einer neuen Deutung der westgermanischen Wortes für Welt // Språkliga bidrag. 1963. Vol. A. 18.
15. Neckel G. Edda. Die Lieder des Codex Regius. II. Kommentierendes Glossar. Heidelberg, 1936.
16. Sweet H. An Anglo-Saxon Reader. Oxford, 1928.

ОБЗОРЫ

АРГУМЕНТИРУЮЩИЙ ДИСКУРС: УСЛОВИЯ УДАЧИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ АРГУМЕНТОЛОГИИ)

Л.Г. Васильев

Настоящая статья посвящена рассмотрению важнейшего фактора в аргументативном общении – условий его успешности – по материалам зарубежной печати.

Будем исходить из того, что языковое общение принципиально многоаспектно и включает целый ряд факторов, которые описываются дисциплинами, не являющимися не только лингвистическими, но даже и филологическими в узком (традиционном) понимании этого последнего термина. Сюда отнесем психологию, философию, когнитивную науку в широком смысле – список, понятно, можно расширить. Поэтому некоторые аспекты аргументативного общения можно рассматривать с позиций уже имеющихся достижений в данных дисциплинах.

Эффективность языкового общения (в том числе, аргументативного) подчиняется общим принципам, выделенным Г.П. Грайсом (максимы количества, качества, релевантности и способа, регулируемыми, соответственно, объем, содержание, уместность и организацию передаваемой информации [Грайс 1985], а также принципу вежливости с его постулатами такта, великодушия, одобрения, скромности, согласия и симпатии, описанному Дж. Личем [Leech 1983 p. 104–142]. Оба этих подхода достаточно подробно охарактеризованы в литературе. Здесь мы рассмотрим ряд подходов, имеющихся в зарубежной аргументологии – уже потому что эти источники остаются по сей день практически недоступными для российской научной общественности.

Согласно Дж. Олвуду, к (логическим) принципам аргументации относятся: (а) соответствие нормам – ожидание того, что логический вывод лежит в рамках общепринятой логики; (б) наличие возможности оценки логической корректности суждений и отклонений от логических

норм; (в) возможность осуществления коррекции логических ошибок в рассуждениях своих и собеседника [Allwood 1982].

Согласно общearгументативному подходу Ч. Хэмлина, утверждения, используемые для защиты, должны либо полностью, либо условно приниматься защитником. Отношения между средствами защиты и защищаемой позицией должны естественно использоваться собеседниками. Средства предполагаемой (но не выраженной) защиты также должны быть привычными для коммуникантов. Положение, защищенное при помощи аргумента, должно считаться более приемлемым, нежели не защищенное [Hamblin 1970, p. 245]. Эти правила можно назвать, соответственно, принципами искренности, естественности и рациональности.

Условия и принципы организации продуцирования, по мнению С. Джекобса, служат и для организации стратегий и тактик анализа аргументов; аргументация как социальная процедура подчиняется принципу «рабочего консенсуса», к которому публично приходят два или более индивида. Такая концепция отдает исключительный приоритет соблюдению социальных ролей, порой в ущерб искренности – отсюда и понятие «рабочего», а не реального консенсуса мнений в условиях публичной аргументации [Jacobs 1987].

Р. Трапп с соавторами считают, что условия успешного осуществления аргументации определяются объективно посредством аргументативной компетенции. В нее включаются: (а) инструментальный параметр – моменты, релевантные для реализации аргумента: кто победил, кто изменил чью точку зрения и т.п.; (б) логический параметр – общая аргументативно-логическая стратегия партнера, а также приемлемость, релевантность, достаточность и когерентность его аргументов; (в) параметр управления ходом аргументативного взаимодействия, обеспечивающий эффективность коммуникации, создание условий для свободного выражения своей позиции, разрешение конфликтов, обработку эмоционального; (г) параметр «общения по существу дела», охватывающий честность, открытость, напористость, стремление избежать нерелевантного «перехода на личности», способность оценивать ситуативные переменные типа времени и места; (д) мотивационный параметр, характеризующий природу мотивации аргументов для партнеров и ее степень [Trapp et al. 1987].

Пресуппозиции в широком смысле считает условиями удачи аргументации П. Скулс. Автор исходит из невозможности компромисса между по-настоящему различными позициями коммуникантов, так как такой компромисс ведет к концептуальному дуализму с вытекающими отсюда противоречиями. Однако интеракция между приверженцами

различных позиций остается возможной в силу принятия коммуникантами глобальной прагматической пресуппозиции о важности обсуждаемой проблемы. Радикальная несовместимость позиций связана с собственно семантическими пресуппозициями. Автор подчеркивает важность того, что понимание причин (то есть пресуппозиций) принятия точки зрения отлично от понимания причин принятия пресуппозиций для этой точки зрения. При этом пресуппозиция трактуется в смысле П. Стросона – не как имплицитная пропозиция, а как видение мира, подход, точка зрения и т.п. [Schouls 1971, p. 129], то есть, в конечном счете, как явление экстра-аргументативного уровня.

Рассматривая анализатора как «рационального судью», С. Джексон выделяет: (1) условия искренности (отрицательная оценка того, о чем повествует проponent); (2) подготовительные условия, к которым причисляются (а) наличие у анализатора адекватных оснований для отрицательного мнения, (б) наличие у анализатора необходимой квалификации (знаний, доступа к нужной информации и т.п.) для оценки аргумента проponentа, (в) наличие у анализатора некоторого конструктивного намерения при осуществлении критики, (г) требование, чтобы анализатор был в состоянии отвечать за свои действия [Jackson 1987].

В нормативно-прагматическом подходе [Barth 1982] проponent атакуемого высказывания всегда должен иметь возможность защитить его путем другого высказывания. Каждый промежуточный тезис должен рассматриваться как защита предыдущего. Возможность защиты атакованного высказывания новым должна быть реалистичной. На любом этапе дискуссии оппонент должен иметь возможность проверить последовательность утверждений проponentа, а последний – иметь возможность защитить свои утверждения. Если сторона критикует некоторое утверждение, то она теряет право повторно его атаковать в том же месте цепочки аргументов; если же человек защитил свое утверждение прямо (то есть не с помощью контратаки), он не обязан защищать его повторно.

Этот подход представляет собой экспликацию принципов формальной диалектики [Barth, Krabbe 1978], идущей от теории диалога П. Лоренцена [Lorenzen, Lorenz 1978]. Формальная диалектика описывает правила ведения аргументации в диалоговом режиме: (1) наличие коммуникативно-аргументативных ролей проponentа и оппонента; (2) обязанность проponentа защищать про-позицию и его нейтральность по отношению к высказываниям оппонента; обязанность оппонента атаковать про-позицию; (3) наличие у проponentа двух способов защиты своего тезиса, после того как его атаковал оппонент: собственно защита и

контр-атака; (4) принцип вербальной экстерииоризации защиты и нападения; (5) обязанность коммуниканта прекратить диалог и выйти из игры, как только он нарушил правила диалогового взаимодействия [Eemeren et al. 1987, p. 131–161].

Формальная диалектика является одним из истоков широко распространенной в настоящее время аргументологической концепции прагматдиалектики¹, созданной учеными Амстердамского университета [см.: Еемеерен, Гроотендорст 1994]. Такая популярность парадигмы, а также то, что упомянутая монография² стала уже библиографическим раритетом, дает мне основание остановиться на данной концепции более подробно. Представители прагматдиалектики устанавливают следующие условия осуществления аргументативного взаимодействия: (1) собеседники – это обычные носители языка в обыденных обстоятельствах; (2) носители языка, участвующие в аргументации, делают это с серьезными намерениями и на добровольной основе; (3) носитель языка, выполняющий роль аргументатора, говорит то, что думает и отвечает за свои слова; (4) носитель языка, выполняющий в аргументации функцию слушающего, понимает, что сказал аргументатор, и на этой основе оценивает сказанное; (5) собеседники могут использовать любую точку зрения и любую информацию, которую считают релевантной для защиты точки зрения или ее атаки; (6) собеседник, защищающий или атакующий некоторое мнение, не должен знать заранее, что другой участник аргументации разделяет его точку зрения [Eemeren et al. 1987, p. 38–50]. Первая максима описывает жанр аргументации, вторая и третья – условия искренности, четвертая – условия адекватности общения, пятая – условие свободы выбора, шестая – условие возникновения аргументации.

Нормативные составляющие концепции следующие. Норма систематической диалектики гласит, что у проponenta всегда должен быть шанс защитить свою точку зрения; в соответствии с этой нормой защита осуществляется последовательно, шаг за шагом, и поэтому каждый последующий тезис считается защищающим каждый предыдущий. Норма

¹ Достаточно сказать, что из всего массива докладов и сообщений, представленных в июне 2006 г. на международной конференции по аргументации в Амстердаме, около половины были выполнены в русле прагматдиалектики. Единственной парадигмой, которая может составлять конкуренцию данному направлению, можно считать североамериканскую школу неформальной логики, изложение основ которой я приведу здесь не могу по соображениям места. Замечу лишь, что обе парадигмы исследуют естественно-языковую аргументацию.

² Замечу, что книга Ф. Еемеерена и Р. Гроотендорста написана весьма сложно даже для подготовленного читателя; точнее, причина тут – малая речевая избыточность текста, делающая его непригодным для «диагонального» прочтения.

реалистической диалектики предполагает, что в определенных случаях проponent имеет возможность защитить тезис без осмысления его в качестве члена аргументативной цепочки – когда оппонент атакует положение, которое ранее принимал. Норма тщательности устанавливает, что проponent имеет право защищать свой тезис, а оппонент – атаковать его всеми допустимыми способами. Норма упорядоченности предписывает, чтобы на каждой стадии дискуссии были четко и доходчиво определены права и обязанности сторон; это достигается серией сменяющих друг друга локальных дискуссий и установлением правил аргументативного поведения собеседников в этих дискуссиях без выхода на глобальный уровень дискуссии в целом. Норма динамической диалектики гласит, что для пересмотра и изменения мнений следует использовать правила формальной диалектики; стороны должны избегать ненужных повторов аргументов, затрагивая тем самым дискуссию. Норма определения победителя в дискуссии устанавливает, что победителем признается тот, кто победил в последней аргументативной цепочке, но не на промежуточных стадиях.

Представители голландской школы описывают 17 правил успешного аргументативного взаимодействия в соответствии с выделяемыми ими этапами дискуссии – конфронтацией, началом, собственно аргументацией и заключением [Еемерен, Гроотендорст 1994, гл. 7]. Однако выделяемые правила фактически разнородны, потому что авторы описывают, с одной стороны, интеракцию, а с другой – собственно аргументацию; во всяком случае, ряд правил, относимых ими к аргументативной стадии, является, по нашему мнению, правилами интеракции. Ниже приводится изложение правил, но не в их оригинальной формулировке, а в сжатом виде (ибо каждое правило в монографии сопровождается объяснениями). Кроме того, эти правила сгруппированы нами в два блока – интерактивных и собственно аргументативных правил, – чего нет в оригинале.

К интерактивным правилам можно причислить следующие. Правило 2: собеседники свободны в выборе позиционного содержания сообщения для выражения своей позиции. Правило 3: право сторон требовать и получать ответ на декларатив употребления (usage declarative). Правило 4: право любого из участников диалога в любое время на протяжении дискуссии потребовать от собеседника защитить его точку зрения. Правило 5: обязанность собеседника защищать свою точку зрения по требованию оппонента. Правило 6: обязанность собеседника не отклоняться от своей аргументативной роли (протагониста или антагониста). Правило 7: договоренность о правилах, определяющих атаку и защиту, должна действовать на протяжении всей дискуссии. Правило 13: право антагониста подвергнуть сомнению любой иллокутивно-

аргументативный комплекс, который еще не был защищен протагонистом. Правило 14: право протагониста на протяжении всей дискуссии защищать любой из еще не защищенных им тезисов. Правило 15: право протагониста в течение дискуссии отречься от тезиса из любого иллюкутивно-аргументативного комплекса, который он ранее реализовал, и тем самым от обязанности его защищать. Правило 16: соблюдение однократности осуществления участниками конкретного иллюкутивно-аргументативного комплекса в пределах одного аргументативного хода и для одной и той же цели; требование соблюдения очередности коммуникативных ходов собеседниками. Правило 17: требование разумности общения, то есть отказа от своей позиции, если адекватно защищена противоположная точка зрения или если против конкретной позиции выдвинута убедительная контр-аргументация.

К собственно аргументативным правилам целесообразно отнести следующие. Правило 1: ограничения на употребление иллюкутивных актов: в аргументации могут использоваться только ассертивы, комиссивы, директивы и декларативы употребления (*usage declaratives*). Правило 8: защита своей позиции протагонистом может осуществляться только при помощи иллюкутивного аргументативного комплекса, а атака точки зрения протагониста антагонистом может быть направлена лишь на пропозициональное или демонстрационное содержание рассуждения противника. Правило 9: восстановление имплицитного довода и применение логических правил для оценки валидности рассуждения. Правило 10: достаточная защита всего аргумента протагонистом предусматривает успешную защиту как пропозиционального, так и демонстрационного содержания аргумента, а достаточная атака антагониста – успешную атаку любого из этих двух компонентов. Правило 11: критерий достаточности защиты тезиса – успешная защита пропозиционального и иллюкутивного содержания аргумента, а достаточности атаки – успешная атака любого из этих компонентов. Правило 12: критерий достаточной защиты исходной точки зрения – успешная защита пропозиционального содержания всего иллюкутивного комплекса и достаточная защита всех суб-аргументов.

В концепции радикальной интерпретации [Lewis 1974] описывается шесть принципов успешного аргументативного общения. Принцип Великодушия и Принцип Рациональности отвечают за наложение ограничений на набор верований автора как конкретного человека и описывают ментальные состояния говорящего. Согласно Принципу Великодушия, следует считать, что автор имеет такое же мировоззрение, какое бы имел на его месте реципиент. Принцип Рациональности гласит, что приписываемые автору мнения должны отражать мотивы его

поведения. Согласно Принципу Истинности, говорящий пользуется языком без цели введения собеседника в заблуждение. Принцип Манифестации предусматривает возможность выдвижения требования к говорящему эксплицировать свое мнение. Принцип Треугольника обеспечивает возможность правильного «перевода» содержания мнений говорящего на язык адресата: при одинаковых условиях истинности и одинаковых ситуациях ментальные состояния говорящего и адресата будут приведены в соответствие. Д. Льюис считает роль языка вторичной по сравнению с ролью мышления. Однако, по мнению М. Даскала, неучет принципа релевантности мнений ведет к тому, что метод Д. Льюиса описывает идеальную транспарентность, но лишь для идеального интерпретатора [Dascal 1983, p. 121–124].

Из постулатов продуктивной аргументации наиболее обсуждаемым в научном обиходе является Принцип Великодушия (The Principle of Charity). У С. Томаса данный принцип понимается в идентификационном смысле – как правило, по которому определяют, является ли данный дискурс аргументом или нет [Thomas 1976]. М. Скривен рассматривает этот принцип с позиций конструктивности, как требование объективного и по возможности нейтрального подхода к аргументу со стороны анализатора [Scriven 1976].

Р. Джонсон вслед за М. Скривеном определяет Принцип Великодушия как максимум оптимальной интерпретации. В отличие от подходов С. Томаса и Р. Баума, трактовки М. Скривена и Р. Джонсона ориентированы на этические принципы. У Р. Джонсона данный принцип помещается в три аналитических пространства: идентификацию, реконструкцию и критику аргумента. В идентификационном пространстве принимается дефиниционный критерий С. Томаса: если текст не содержит индикаторов аргументации, а попытка представить его в виде рассуждения не дает положительных результатов, то это не аргумент. В реконструкционном пространстве Принцип Великодушия реализуется (а) в поиске "логического скелета" текста, то есть отбрасывается его неаргументативное наполнение, (б) при восстановлении (до полносоставного) аргумента-энтимемы – в выборе на роль посылки наиболее "слабого" варианта из потенциальных доводов. В пространстве критики анализируемый принцип воплощается в Принципе Выбора, предписывающем направленность критики на наиболее сильные суждения противника [Johnson 1981]. По мнению Дж. Гуфа и К. Тиндейла, Принцип Великодушия есть этическая максима честности, важная составная часть стратегии защиты аргумента и надежное эпистемическое средство для установления истинности суждений. Применение этого принципа предполагает оценку автора как разумного эксплицитного аргументатора

и предусматривает запрет на искажение его позиции (*straw man fallacy*) анализатором; в плане направленности на аргумент предлагается применение «бритвы Оккама», то есть недопущение поиска дополнительных «скрытых» доводов, если аргумент логичен [Gough, Tindale 1985].

Само принятие Принципа Великодушия как основополагающего для теории аргументации, знаменует, по мнению Т. Говье, непринятие принципа субстанциональной парадигмы в ее радикальном варианте П. Фейерабенда, гласящем, что "невозможно обосновать общеприемлемые нормы корректного поведения в научном общении" [Govier 1983:11]. Т. Говье трактует Принцип Великодушия как совокупность следующих его интерпретаций: трюистической (требования адекватной интерпретации текста анализатором); сильной версии (требования выведения из текста анализатором наилучшего (видимо, для автора текста) аргумента); умеренной версии (выбор наилучшей аргументативной интерпретации из числа возможных). Сама Т. Говье придерживается умеренной версии, исходя из того, что не может быть сильных и слабых версий одного и того же аргумента, а существуют лишь сильные и слабые версии аргументативной интерпретации текста.

Э. Ведунг уточняет применение Принципа Великодушия к оценке логичности аргумента, различая авторо-ориентированную и не-авторо-ориентированную логичность. В первом случае аргумент оценивается с учетом личности автора текста, во втором – без учета таковой. Второй случай реализуется в ответно-ориентированном и не-ответно ориентированном вариантах – в зависимости от того, интересуется ли анализатора мнение автора текста по поводу анализа текста реципиентом [Vedung 1983].

В подходе Д. Дэвидсона при понимании сообщения интерпретатор сначала определяет, какие предложения соотносятся с какими событиями. Применяя Принцип Великодушия, он полагает, что фактуальные предложения правильно описывают положение дел и пытается определить условия их истинности, а затем на основании этих предложений – условия истинности других предложений, соотнесение которых с событиями действительности не очевидно. На основании Принципа Великодушия и своих собственных представлений (собственной логики) о когерентности он полагает, что названные предложения не противоречат фактуальным, что автор последователен и придерживается той же логики, что и сам интерпретатор. Если интерпретатор считает, что автор допустил противоречие, он может заявить об этом прямо или, пытаясь понять, почему автор допустил ошибку, искать новую, более адекватную интерпретацию. Если же адресат считает, что автор неправ, он может

предъявить автору обнаруженное противоречие, ожидая, что автор его признает. Если автор признать его отказывается, адресат (применяя тот же Принцип) опять приступает к поиску адекватной интерпретации, полагая, что он не понял автора [цит. по.: Neysse 1994: 228]. В данном подходе намечена возможность столкновения логик отправителя и реципиента, однако соблюдение Принципа Великодушия заставляет реципиента оставаться в рамках выбранной логики. Данный принцип является методологически значимым для принятия тезиса о конвенциональности систем рассуждения.

Мы рассмотрели ряд подходов, описывающих принципы, лежащие в основе аргументативного взаимодействия. Нетрудно заметить, что проанализированные подходы совершенно необязательно характеризуют успешность в перлокутивном смысле, смысле эффективности – напротив, риторическая компонента в большинстве подходов отсутствует, а успешность рассматривается в реализационном плане. Думается, что такой ракурс рассмотрения может оказаться информационно полезным для ученых, работающих преимущественно в риторической парадигме.

Литература

1. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1985. – Вып. XVI.
2. Еемерен Ф.Х. ван, Гроотендорст Р. Речевые акты в аргументативных дискуссиях. – СПб., 1994.
3. Allwood J. Logic and spoken interaction // *Argumentation: Approaches to the Theory Formation* / Ed. by Barth E.M., Martens J.M. Amsterdam: Foris, 1982.
4. Barth E.M. A normative-pragmatic foundation of the rules of some systems of formalizing dialectics // *Argumentation: Approaches to the Theory Formation* // Ed. by Barth E.M., Martens J.L. Amsterdam: Benjamins, 1982.
5. Barth E., Krabbe E.C.W. Formele dialectiek: instrumenten ter beslechtiging van conflicten overgeuite meningen // *Spektator*. 1978. Jrg. 7.
6. Dascal M. Pragmatics and the philosophy of mind. Vol. 1. Amsterdam; Philadelphia: Benjamins, 1983.
7. Eemeren F.H. van, Grootendorst R., Kruiger T. Handbook of argumentation theory: A critical survey of classical backgrounds and modern studies. Dordrecht etc.: Foris, 1987.
8. Gough J., Tindale Chr. «Hidden» or «missing» premises // *Informal Logic*. 1985. Vol. 7. Nos. 2–3.
9. Govier T. On Adler On Charity // *Informal Logic Newsletter*. 1983. Vol. 5. No. 3.
10. Hamblin Ch. Fallacies. London: Methuen, 1970.
11. Heysse T. Why logic doesn't matter in the study of argumentation // *Proceedings of the Third ISSA Conference on Argumentation* / Ed. by Eemeren F.H. van et al. Amsterdam: Foris, 1994. Vol. 1. Jackson S. Rational and pragmatic aspects of argument // *Argumentation: Proceedings of the Conference on Argumentation, 1986* / Ed. by Eemeren F.H. van et al. Dordrecht etc.: Foris, 1987. Vol. 1.
12. Jacobs S. The management of disagreement in conversation // *Argumentation: Proceedings of the Conference on Argumentation, 1986* / Ed. by Eemeren F.H. van et al. Dordrecht

- etc.: Foris, 1987. Vol. 1.
13. Johnson R. Charity begins at home // *Informal Logic Newsletter*. 1981. Vol. 3. No. 3.
 14. Leech G. *Principles of pragmatics*. London etc.: Longman, 1983.
 15. Lewis D. Radical interpretation // *Synthese*, 1974. Vol. 27. No. 3/4.
 16. Lorenzen P., Lorenz K. *Dialogische Logik*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978.
 17. Schouls R. Reason, semantics, and argumentation in philosophy // *Philosophy and Rhetoric*. 1971. Vol. 4. No. 2.
 18. Scriven M. *Reasoning*. N.Y.: McGraw-Hill, 1976.
 19. Thomas S. *Practical reasoning in natural language*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1976.
 20. Trapp R. Everyday argumentation from an interpretive perspective // *Argument and Critical Practices: Proceedings of the 5-th SCA/AFA Conference on Argumentation* / Ed. by Wenzel J. Annandale, VA: Speech Communication Association 1987.
 21. Vedung E. Systematic interpretation and the principle of charity // *Informal Logic Newsletter*. 1983. Vol. 5. No. 2.

ФИЛОЛОГИЯ: ЛЮДИ, ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

Информация о конференции «Языки и литературы тюрко-монгольских народов Алтая» (2006 г.)

Международная научно-практическая конференция «Языки и литературы тюрко-монгольских народов Алтая» прошла с 15 по 18 июня 2006 г. в г. Горно-Алтайске, в Горно-Алтайском госуниверситете (ГАГУ) при финансовой поддержке РГНФ (грант № 06-04-91892 г/Г) в рамках совместного конкурса РГНФ – МинОКН Монголии «Мир Центральной Азии». Организаторами конференции выступили Горно-Алтайский и Ховдский (г. Ховд, Монголия) госуниверситеты.

Необходимость проведения конференции обусловлена тем, что Горный Алтай и сопредельные территории в начале XXI века характеризуются интенсивным развитием политических, экономических и культурных отношений между народами, населяющими регион. В связи с этим актуализируются проблемы изучения языковой ситуации в регионе, взаимовлияния языков, их развития и функционирования.

В программу конференции было включено 80 докладов, авторы которых работают в разных городах России и зарубежных стран – в Барнауле, Бийске, Горно-Алтайске, Кызыле, Новокузнецке, Новосибирске, Улан-Удэ, Уфе, Ханты-Мансийске, Якутске, Ховде (Монголия), Щечине (Польша).

На пленарном заседании с докладами выступили А.Т. Тыбыкова, доктор филологических наук., профессор кафедры алтайского языка и литературы Горно-Алтайского госуниверситета («Тюрко-монгольские языковые связи (на материале алтайского языка)»); Наваанзоч Х. Цэдэв, кандидат педагогических наук, проректор по научно-исследовательской работе Ховдского госуниверситета («Русский язык как главное средство общения народов Большого Алтая»); А.А. Чувакин, доктор филологических наук, профессор кафедры теории коммуникации, риторики и русского языка Алтайского госуниверситета (Барнаул) («*Novo Loquens* как объект филологии»); Н.М. Киндикова, доктор филологических наук, профессор кафедры алтайского языка и литературы Горно-Алтайского госуниверситета («Корни родства в тюрко-монгольской литературе»); И.Я. Селютин, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института филологии СО РАН (Новосибирск) («Фонетические процессы как отражение языковых контактов (на материале южно-сибирских тюркских и монгольского языков)»); Н.Н. Широкова, доктор филологических наук, проф., заведующий сектором языков народов Сибири, зам. директора Института филологии СО РАН (Новосибирск) («Огузо-кыпчакская проблема в

зеркале сибирских тюркских языков»); О.Т. Молчанова, доктор филологических наук, профессор Щецинского университета (Польша) («Алтайское *суу* и монгольское *усун* в составе географических имен»).

Важно отметить широту проблематики докладов, вынесенных на пленарное заседание: в них проводился конкретный лингвистический анализ материала тюрко-монгольских языков на фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях; рассматривались вопросы теоретической филологии; по-новому оценивалась роль русского языка применительно к российскому, казахстанскому, монгольскому и китайскому Алтаю.

Секционная работа проводилась в семи секциях, посвященных отдельным проблемам тюрко-монгольской, русской, а также общей филологии.

В секции «Лексикология, лексикография, фразеология и диалектология тюрко-монгольских языков» были представлены доклады по истории изучения тюркских языков (И.Ю. Васильев. Из истории изучения тюркских языков Сибири в XVIII веке (на примере якутского языка)), о лексических параллелях и заимствованиях (Ю.И. Васильев. Огузо-восточнотюркские лексические параллели), А.В. Тимофеев. Якутско-тофаларско-алтайские лексические параллели, А.Э. Чумакаев. Алтайско-монгольские лексические параллели: имена существительные), родословных и именах (Б.Б. Бадмаев. Бурятские родословные в контексте тюркских и монгольских родословных (аспекты сравнительно-типологического анализа, Д.М. Токмашев. Личное имя в эпосе тюрков Южной Сибири и общетюркской эпической традиции) и др.

В секции «Грамматические исследования по тюрко-монгольским языкам» рассматривались проблемы словообразования, морфологии, фонетики и синтаксиса указанных языков.

Проблемам орфографии алтайского языка был посвящен доклад Н.Д. Алмадаковой «Сингармонизм и вопросы орфографии алтайского языка (к постановке вопроса)», О.М. Альчикова обратилась к степеням качества имен прилагательных, А.Р. Тазранова – к причастным аналитическим конструкциям сказуемого в алтайском языке.

Интересным были выступления фонетистов Т.Р. Рыжиковой «Барабинско-татарский консонантизм: к проблеме дифференциальных признаков» и Н.С. Уругешева «Фарингализация шумных и малошумных согласных в шорском языке как конститутивно-дифференциальный признак», работающих в Лаборатории экспериментально-фонетических исследований при Институте филологии СО РАН (Новосибирск). Докладчики представили научные результаты, полученные путем использования новейших технических разработок и программ в области изучения звуковых систем языков.

Секция «Тюрко-монгольская литература» объединила докладчиков, занимающихся исследованием литературы и фольклора в их истории и современном состоянии. Так, Т.П. Шастина выступила с докладом «Семья и род в художественном мире сборника Дибаша Каинчина «У родных очагов», Н.С. Гребенникова представила этикетный аспект алтайской поэзии («Репрезентация ритуально-этикетной обрядовости в алтайской поэзии»),

Н.Н. Николаева проанализировала образы женщин-богатырш в эпосе («Образы женщин-богатырш в эпосе бурят и хакасов»).

На заседаниях двух секций рассматривались проблемы русистики, многие из которых тесно связаны с исследованием других языков или имеют общелингвистическую значимость. Некоторым новым аспектам изучения текста были посвящены доклады Д.Н. Васильева и А.А. Чувакина «Ситуационный уровень художественного текста: к постановке проблемы», Н.А. Волковой и М.А. Веревиной «Текстовая модальность в прогнозе погоды (на материале текстов СМИ)», Г.В. Кукуевой «Образ автора в современной лингвистической парадигме», О.В. Марьиной «Интеграционные процессы в синтаксисе художественных текстов начала XXI в.», Т.Н. Никоновой «Речевое поведение экскурсовода», О.В. Новиковой «Интертекстуальность художественного текста», Н.В. Панченко «Метатекстовая стратегия композиционного построения текста (на материале современной русской прозы)». Выделяется группа докладов на темы лексического содержания; это доклады Н.А. Баланчик «Семантического своеобразие номинаций, обозначающих постройки в говорах Кемеровской области»; Т.И. Егоровой «Формирование русского женского имени в конце XX в. в г. Горно-Алтайске», Т.И. Ореховой и Н.В. Корчугановой «Функционирование мифоантропонима Иван в сказочном пространстве (этимологический аспект)». Современным проблемам языковедения были посвящены выступления С.И. Драчевой «Ассоциативный эксперимент как средство обнаружения национально-культурной специфики концептуальной картины мира», М.М. Черновой «Языковая личность в современных исследованиях», Е.В. Ширшиковой «Роль актуализации «неотчуждаемых орудий» в репрезентации концепта «WERKZEUG» в современном немецком языке» и др.

В секции «Русская и зарубежная литература» обсуждались и анализировались различные литературные и фольклорные произведения. На секции прозвучали доклады Ю.В. Лиморенко «Параллелизм строк в аспекте фольклористического перевода», И.А. Толмашева «Книга Андрея Битова «Воспоминание о Пушкине» как свод «пушкинской» эссеистики автора»; О.Г. Левашовой ««Топос-Алтай» в региональной литературе конца XIX – начала XX вв.», И.А. Бедаревой «Система фольклорно-мифологических элементов в современной русской поэзии Горного Алтая» и др.

Докладчики, занимающиеся проблемами преподавания национальных языков, работали в секции «Языковая политика и система образования»: Ф.Х. Гарипова «Языковая политика в Республике Башкортостан (1990–2000 гг.)», Н.А. Содонов, Р.В. Опарин «Развитие полиэтнической культуры средствами устного народного творчества», С.Б. Сарбашева «Коммуникативный принцип обучения алтайскому языку». Обсуждение проблематики на данной секции показало, что все еще сохраняются серьезные проблемы с преподаванием национальных языков.

Конференция позволила оценить современное состояние тюрко-монгольских языков и литератур Алтая и сопредельных регионов, осмыслить их роль в субъектах РФ, а также значимость русского языка как объединяющего в языковом плане различные народы.

Конференция выявила основные направления в исследовании тюрко-монгольских языков и литератур, сложившиеся в разных регионах страны и отчасти в зарубежье, «болевые» точки нашей науки и ее перспективные задачи, возможности решения теоретических и прикладных проблем филологии на материале тюрко-монгольских, славянских и других языков. По общему мнению всех участников конференции, встреча в Горно-Алтайске способствовала интеграции ученых-филологов в решении очередных задач нашей науки и образования, являлась ценной не только в плане информационного обмена и как средство рождения новых научных проектов, но и значима для дальнейшего развития филологических наук.

А.Э. Чумакаев

III Международная научно-практическая конференция «Языковая картина мира: лингвистический и культурологический аспекты»

На кафедре русского языка Бийского педагогического государственного университета имени В.М. Шукшина 30 ноября – 1 декабря 2006 г. прошла очередная III Международная научно-практическая конференция «Языковая картина мира: лингвистический и культурологический аспекты». Для участия в конференции было подано более 90 заявок ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Гродно (Беларусь), Тольятти, Ростова-на-Дону, Оренбурга, Ярославля, Белгорода, Волгограда, Екатеринбургa, Воронежа, Томска, Новосибирска, Омска, Тулы, Тюмени, Барнаула, Лесосибирска, Кемерово, Белово, Петропавловска-Камчатского, Новокузнецка, Бийска, а по ее итогам издан сборник научных трудов.

В центре внимания участников конференции, включая учителей и студентов, находились актуальные вопросы ряда активно развивающихся направлений современного языкознания, культурологии, философии. Среди очных и заочных участников конференции были представители разных научных школ и направлений, объединенных общей проблематикой языковой категоризации и концептуализации мира, общим понятием «языковая картина мира». Такой интерес мы объясняем как научной актуальностью темы, находящейся на пересечении когнитивной и лингвокультурологической проблематики, так и тем, что анализ языковых картин мира имеет огромное прикладное значение. Изучение языковой картины мира приобретает особую значимость не только в контексте диалога культур, но и в сфере речевой культуры.

Работа конференции проходила в рамках пленарного заседания и трех секций, на которых рассматривались различные аспекты общей темы: вопросы философии и онтологии языка; языковая личность и языковое сознание в контексте проблемы языковой картины мира; картина мира и ее отражение в языке, речи и сознании; детерминационный и деривационный аспекты изучения языка и речи; организация и функционирование текста в современной лингвистике с учетом ее полипарадигмального характера.

Пленарное заседание первого дня конференции открылось вступительным словом председателя оргкомитета конференции, ректора университета, профессора

В.П. Никишаевой и приветствием проректора по научной работе Бийского педагогического государственного университета им. В.М. Шукшина профессором Л.И. Царегородцевым.

Пленарный доклад доцента К.И. Бринева (Барнаульский государственный педагогический университет) «Гносеологические свойства концепта “картина мира” был посвящен обсуждению вопроса о методологической природе концепта «картина мира» в лингвистической науке. В докладе было высказано предположение об идеологическом характере данного концепта и рассмотрены подтверждающие его факты.

Доклад доцента Ю.В. Трубниковой (Алтайский государственный университет) «Проблема изучения деривационного потенциала текста» содержал образцы глубокого и интересного анализа лексико-деривационной структуры текста в процессе его функционирования; демонстрировал обусловленность данной структуры внутритекстовыми деривационно-детерминационными процессами.

В докладе профессора Е.Б. Трофимовой (Бийский педагогический государственный университет имени В.М. Шукшина) «Общетеоретические проблемы процесса вербализации» были представлены результаты коллективного исследования, посвященного изучению проблемы вербализации сигналов различной природы разноязычными носителями в условиях психолингвистического эксперимента.

Сообщение профессора М.Г. Шкуропацкой (Бийский педагогический государственный университет имени В.М. Шукшина) «Проблема лакунарности в интер- и интралингвистике» содержало обзор различных подходов к изучению феномена лакунарности в рамках межязыковой и внутриязыковой коммуникации; большее внимание в нем было уделено проблеме соотношения понятий «лакуна» и «потенциальное слово» при изучении системных отношений на морфо-деривационном уровне языка.

Завершило серию пленарных докладов выступление доцента У.М. Трофимовой (Бийский педагогический государственный университет имени В.М. Шукшина) «К вопросу о психологической адекватности языковой картины мира», в котором на экспериментальном материале была продемонстрирована специфика отражения мира в сознании носителей языка и поставлен вопрос о несовпадении двух реальностей – наивной картины мира и языковой картины мира, связанных в лингвистике с двумя различными подходами: антропоцентрическим и системоцентрическим.

Во второй день конференции работали три секции, где научные доклады также переходили в острые, но плодотворные научные дискуссии. В обсуждении актуальных проблем языковой картины мира, языковой личности и языкового сознания в их взаимодействии на заседании первой секции «Языковая картина мира, языковая личность, языковое сознание» принимали участие преподаватели, аспиранты и учителя из высших учебных заведений и общеобразовательных школ городов Новосибирска, Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Бийска. Прозвучали доклады доцента Н.Г. Вороновой, аспирантов Е.Г. Зыряновой, О.В. Калужной, аспиранта Н.Ю. Плаксиной, аспиранта А.Н. Косицина, доцентов

Е.В. Белгородцевой, О.С. Панкрашовой. В докладе Н.Г. Вороновой «Метатекстовая способность и ее диагностика» была представлена характеристика метатекстовой деятельности в целом и особенностей ее проявления при выполнении творческого задания школьниками в рамках ЕГЭ по русскому языку (часть С1). В выступлениях Н.Ю. Плаксиной «Маргинальные страницы тетради и их связь с языковой личностью» и Е.Г. Зыряновой «Типология языковой личности на примере частной записки» прозвучала проблема построения типологии языковой личности на основе ее реализации в различных жанрах естественной письменной речи. Обсуждению теоретических и прикладных аспектов проблемы самопрезентации личности в лингвистике было посвящено сообщение О.В. Калюжной «К вопросу о проблеме самопрезентации». Речевые особенности современного общественно-политического дискурса как сферы освоения заимствованной лексики стали темой выступления Е.В. Белгородцевой «Оценочность и агрессивность политического дискурса». Доклады А.Н. Косицына «Концепты «ветер» и «солнце» в творческом мире Д. Ревякина» и Е.К. Исаковой «К вопросу о коцептуальной сущности торгонимов» были посвящены проблеме формирования мегаконцептов и составляющих их единиц в художественном и рекламном текстах. В сообщении О.С. Панкрашовой синтаксические единицы в тексте рассматривались в лингвоперсонологическом аспекте.

Заседание второй секции «Организация и функционирование текста. Текст и культура» проходило в обстановке живой и интересной дискуссии. Проблема языковой объективации повторов и их функциональной характеристики в древнерусском языке XI – XVII веков стояла в центре сообщения Н.И. Богдановой (Кемерово). В докладе Н.В. Сайковой (Кемерово) «Деривационные варианты текста: лингвоперсонологический аспект» обсуждалась проблема соотношения объективных (системных и текстовых) и субъективных (исходящих от языковой личности) факторов, влияющих на реализацию деривационного потенциала текста, были определены параметры его лингвоперсонологического описания, которые явились основой исследовательской методики, позволяющей выявить детерминанты деривационного варьирования текста. Проблема изучения типа задаваемого вопроса, его влияния на тему и функционально-смысловой тип текста, полученного в ответе, исследовалась на региональном речевом материале, чему и было посвящено выступление Е.В. Алтуниной (г. Бийск) «Программирующая функция вопроса в разговорной речи». В докладе Ю.А. Карташовой (г. Бийск) «Компонентный состав цветовой микрополя в поэзии И. Северянина» была охарактеризована частеречная принадлежность лексических единиц, в имплицитной или эксплицитной форме содержащих сему с определенным цветовым признаком, способы образования и особенности употребления колоративов в поэтических текстах И. Северянина.

Активное участие в обсуждении докладов принимали не только преподаватели и аспиранты, но и присутствующие на заседании студенты. Для будущих словесников актуальным оказалось исследование рекламного текста в аспекте отражения в нем потребительской сферы человека, прозвучавшее в сообщении Е.С. Красковой (г. Бийск) «Актуализация потребностей потребителей в рекламном тексте (на материале телерекламы)».

Активно и заинтересованно прошло обсуждение докладов в самой многочисленной секции «Картина мира и ее отражение в языке, речи, сознании», в которой приняли участие преподаватели, аспиранты и студенты из Алтайского государственного университета, Кемеровского государственного университета, Кузбасской государственной педагогической академии, Барнаульского государственного педагогического университета, Бийского педагогического государственного университета имени В.М. Шукшина. М.В. Кисилевой была предложена методика определения коэффициента инвективности некоторых слов в сознании носителей русского языка. Доклады С.В. Гановой «Концепт «Бийск» в сознании региональной языковой личности (на материале стихотворений бийских авторов)» и К.А. Маркарян «Не наше» пространство в сознании региональной языковой личности» были посвящены различным аспектам концептуализации мира в сфере сознания региональной личности. Проблема косвенной номинации в публицистическом тексте стала предметом выступления П.П. Сидоренко. Доклады А.И. Акимовой «Идеографическое описание фразеологизмов В.М. Шукшина» и Г.В. Сарычевой «К вопросу о классификации концепта «любовь» в русском и английском языках» были посвящены разноаспектной характеристике фразеологических единиц, особенностям их употребления в различных сферах языка и речи. Объектом внимания в сообщении А.В. Проскуриной стала проблема смыслопорождающего потенциала такой комплексной единицы словообразовательной системы языка, как словообразовательный тип. Сообщение Е.В. Самохиной содержало результаты интерпретации лингвистического эксперимента, направленного на выявление лакун в рамках словообразовательной категории. Доклад Л.А. Инюгиной «Формирование лексической парадигмы в одном сибирском говоре» был посвящен особенностям проявления системных отношений в диалектной лексике.

На заключительном пленарном заседании прозвучал доклад профессора Л.М. Дмитриевой (Алтайский государственный университет) «Топоним как этнокультурная единица», где была обозначена проблема, заявленная в названии. Это послужило поводом для заинтересованного обсуждения заявленного вопроса. В заключении заседания председатели секций выступили с отчетами о работе секций.

Было принято решение провести очередную IV Международную конференцию, посвященную языковой картине мира, на базе Бийского педагогического университета имени В.М. Шукшина в 2008 г., а в 2007 г. издать очередной третий выпуск сборника научных статей «Картина мира: язык, литература, культура».

У данной конференции была своя атмосфера, спрочированная проживанием ее участников на загородной университетской туристической базе «Канонерское». Мы надеемся, что в памяти участников конференции останутся не только события ее научной программы, но и имеющая особое обаяние природа заповедного сибирского уголка.

М.Г. Шкуропацкая

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Куляпин А.И., Скубач О.А. Мифы железного века: семиотика советской культуры 1920-х – 1950-х гг.: Монография. – 2-е изд., доп. и испр. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 127 с.

В издательстве АлтГУ вышла монография А.И. Куляпина и О.А. Скубач «Мифы железного века: семиотика советской культуры 1920–1950-х гг.». Опираясь на материал литературы, кино, живописи, искусства плаката, а также на мемуары и публицистику сталинской поры, авторы исследуют специфически советское восприятие таких существенных аспектов человеческого бытия, как национально-культурное пространство, сон, телесность, похоронный ритуал, транспорт, средства связи, феномен подарка. Наряду с этими универсальными составляющими советского политико-идеологического космоса рассматриваются и его более частные «маркеры»: футбол и коллекционирование, служебно-розыскные собаки и «собаки Павлова». Главная задача этой работы – изобразить недавнее советское прошлое не в привычном ракурсе истории фактов, но как историю представлений, убеждений и заблуждений среднестатистического «homo soveticus», обитателя мира сталинской утопии. Книга предназначена для широкого круга читателей: для всех интересующихся советской культурой первой половины XX века, а также для тех, кого занимает феномен мифологии повседневности.

Как справедливо утверждают авторы работы, для читателя и зрителя начала XXI века художественная ценность произведений социалистического реализма не очевидна. Соглашаясь в целом с этим тезисом, заметим, что интерес к культуре сталинской эпохи в последнее время стремительно растет. Свидетельство тому – частое присутствие на телеэкране фильмов 30–40-х годов, переиздание ряда знаковых книг этой эпохи, организация нескольких успешных выставок соцреалистической живописи. В этой связи работа А.И. Куляпина и О.А. Скубач представляется актуальной и отвечающей запросам сегодняшнего дня.

Конечно, не все значимые сферы советской культурной действительности получили достаточное освещение. Можно отметить и ряд белых пятен, например, недостаточно хорошо разработана мифология советского спорта, подробно рассмотрена пространственная модель при игнорировании временной составляющей советского мирообозраза. Тем не менее, монография барнаульских авторов уже встретила сочувственный отклик у ряда известных отечественных и зарубежных специалистов-советологов. Что важнее, перспективы данного исследования представляются еще далеко не исчерпанными.

О.А. Ковалев

SUMMARY

V.I.A. Lukov. World Literature as scientific research subject: historical theoretical and thesaurus trends. Historical theoretical and thesaurus trends are the most perspective for the world literature conception construction nowadays. The examination of world literature in cultural context with the help of different methods of science will allow to construct historical theoretical literature conception.

L.N. Sinyakova. «Knighthood» and «middle-class conventionality» in artistic conception of the novel «Middle-class people» by A.F. Pisemsky. «Middle-class conventionality» and «Knighthood» are ethico-philosophical poles that determine the meaning of human life in Pisemsky's novel «Middle-class people». Social philosophical novel «Middle-class people» is included in the 1870s Russian literature, trying to solve modern moral problems.

A.I. Kulyapin, O.A. Scubach. Games with time: semiotics of clock in soviet culture of 1920–40's. Revolution generates a new understanding of time any way. The idea of time acceleration became dominate in official culture after October 1917. The image of time-machine is popular in literature of this period. Another aspect of soviet time understanding is connected with total reclamation course.

M.A. Bologova. Ecclesiast book in A. Eppel's story "The blessed and the faith": reading through metaphor. A. Eppel's story «The blessed and the faith» is examined through the basic metaphor of flight. This metaphor helps understand the principles and ways of Ecclesiast book inclusion in the text.

N.V. Panchenko. From text units to composition units. The problem of composition units singling out is decided on the material of modern literature texts. These units transform text material and generate compositional text variant. Transformation is made by equivalent numbers construction. It is based on facts that actualize in communication process.

K.I. Brinyov. Metalingvistic and linguistic units in juridical language. The problem of natural language status in modern legal space is discussed in the article. The opposition of metalinguistic and proper linguistic levels in juridical language is in focus.

M.U. Sidorova, U Baoyan. Who spells incorrectly in Internet and why? The authors give explanation for spelling violations in Russian Internet distinguishing between unconscious and deliberate ignorance of spelling rules. Misspelling in Internet can efficiently reflect writers' attitude towards themselves, readers and the topic discussed.

I.M. Volchkova. Parody as discursive space signal. Genre of parody as a symbol of communication in the context of modern society «humorous culture» is considered in this article.

S.A. Dobrichev. Syntactic conversion of complex sentences in the English language. The article is devoted to the problem of converse relations on the level of composite sentences in English. Various types of converse transformations are analyzed. It is argued that all converse syntactical complexes refer to the same referent and the same frame.

A.A. Bahaeva. Confession motive in F.M. Dostoevsky's early works («Poor people», «Mistress»). The given article is focused on the confession motive in F.M. Dostoevsky's early works. The given motive is investigated both in religious and in moral – philosophical aspects. Analyzing the novel «Poor people» and the story «Mistress» we ascertained that the motive of confession in Dostoevsky's early works is considerably reduced as compared to its' realization in later novels. And if in the novel «Poor people» it is only planned and mostly realized through the feeling of social guilt of the main character, in «Mistress» it is presented as a national feature.

E.V. Sosnin. Nature, man and time: ethnical personification of time cycles in Old Germanic mythopoetical world conception. The main metaphors of world and time conceptions are represented. Three time periods are observed in Old German mythopoetical world conception. Time periods are presented by three generations images of anthropomorphic creatures. They inhabit mythical universe.

НАШИ АВТОРЫ

- БАХАЕВА,**
Анна Александровна – аспирант Алтайского государственного университета (г. Барнаул). E-mail: rfl@filo.asu.ru
- БОЛОГОВА,**
Марина Александровна – кандидат филологических наук, доцент, научный сотрудник Института филологии СО РАН (г. Новосибирск).
- БРИНЕВ,**
Константин Иванович – кандидат филологических наук, доцент Барнаульского государственного педагогического университета. E-mail: brinev@uni-altai.ru
- ВАСИЛЬЕВ,**
Лев Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор Калужского государственного педагогического университета. E-mail: lev@kspu.kaluga.ru
- ВОЛЧКОВА,**
Ирина Михайловна – доктор филологических наук, профессор Уральского государственного университета (г. Екатеринбург).
- ДОБРИЧЕВ,**
Сергей Александрович – доктор филологических наук, профессор Барнаульского государственного педагогического университета. E-mail: kiu@bspu.secna.ru
- КОВАЛЕВ,**
Олег Александрович – кандидат филологических наук, доцент Алтайского государственного университета (г. Барнаул). E-mail: kovalev@filo.asu.ru
- КУЛЯПИН,**
Александр Иванович – доктор филологических наук, профессор Алтайского государственного университета (г. Барнаул). E-mail: rfl@filo.asu.ru
- ЛУКОВ,**
Владимир Андреевич – доктор филологических наук, профессор Московского гуманитарного университета. E-mail: lookoff@mail.ru
- ПАНЧЕНКО,**
Наталья Владимировна – кандидат филологических наук, доцент Алтайского государственного университета (г. Барнаул). E-mail: panchenko@list.ru
- СИДОРОВА,**
Марина Юрьевна – доктор филологических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. E-mail: sidorovadoma@mail.ru
- СИНЯКОВА,**
Людмила Николаевна – кандидат филологических наук, доцент Новосибирского государственного университета. E-mail: sinyakov@niboch.nsc.ru
- СКУБАЧ,**
Ольга Александровна – кандидат филологических наук, доцент Алтайского государственного университета (г. Барнаул). E-mail: skubach@filo.asu.ru

**СОСНИН,
Евгений Викторович**

– аспирант Новосибирского государственного университета.
E-mail: shardane2006@yandex.ru

У БАОЯНЬ

– аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова. E-mail:
wubaoyan555@mail.ru

**ЧУМАКАЕВ,
Алексей Эдуардович**

– кандидат филологических наук, доцент Горно-Алтайского государственного университета. E-mail: chae@gasu.ru

**ШКУРОПАЦКАЯ,
Марина Геннадьевна**

– доктор филологических наук, профессор Бийского педагогического государственного университета имени В.М. Шукшина. E-mail: marina@mail.biysk.ru

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство ПИ ФС 12-1205 от 15.12.2006 г.

Сдано в набор . Подписано в печать . Формат 60 × 90¹/16. Гарнитура Times New Roman. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8. Тираж 500 экз. Изд. № . Заказ № .

Отпечатано в

© Издательство Алтайского университета.
656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66.

Требования к оформлению присылаемых в редакцию материалов

1. Редакция журнала принимает статьи объемом от 0,5 до 0,75 авторского листа (20–30 тыс. знаков), научные сообщения – до 0,3 авторского листа (12–13 тыс. знаков), другие материалы – до 0,15 авторского листа (5,5–6 тыс. знаков).
2. Электронные материалы должны быть представлены в формате Word for Windows/ Интервал точно 12 пт (полуторный); шрифт – Times New Roman, кегль 12. Для знаков, отсутствующих в шрифте Times New Roman (для транскрипции, иноязычных примеров и т.д.), используются стандартные распространенные шрифты (Symbol, Lucida Sans Unicode, SILDoulosIPA, SILDoulos IPA93). При использовании оригинальных шрифтов их файлы (формат *.tlf – True Type Font) необходимо выслать вместе со статьей приложением к электронному письму. Для создания схем, графиков, иллюстраций используются программы стандартного пакета Microsoft Office; графика должна быть внутри файла.
3. Примеры в тексте статьи оформляются курсивом.
4. Примечания к тексту оформляются в виде постраничных сносок и имеют сквозную нумерацию.
5. Библиографическое описание изданий оформляется в соответствии с действующим ГОСТом и приводится в конце работы по алфавиту. Источники на иностранных языках располагаются после источников на русском языке.
6. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, где указывается фамилия автора и год издания с обозначением цитируемых страниц. Например, [Виноградов 1963, с. 46]. Если в библиографии упоминается несколько работ одного и того же автора и года, то используется уточнение: [Горелов 1987а]. В списке литературы делается такая же пометка.
7. В конце текста статьи (научного сообщения) помещается Resume на английском языке (до 250 знаков).
8. Статьи следует направлять по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, Алтайский государственный университет, филологический факультет, ауд. 411-а, отв. секретарю журнала Панченко Наталье Владимировне. Почтовые отправления в обязательном порядке дублируются электронной почтой. Электронная версия отправляется вложенным файлом по адресу: soveto1@filo.asu.ru (В разделе «Тема» просим указать: «В редакцию журнала».) К статье прилагается справка об авторе или авторах (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое звание, служебный и домашний адрес, номера телефонов, факс, электронная почта).
9. Статьи, оформленные в нарушение приведенных правил или плохо отредактированные, редакцией не рассматриваются.